



Глеб Александрович ГОРЫШИН родился в 1931 году в Ленинграде. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор более тридцати книг рассказов, повестей, очерков. Член Союза писателей с 1960 года. Живет в Санкт-Петербурге.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СНЕГА

Записи одного лета

Записи этого лета (1993 г. — Ред.) — продолжение записей, опубликованных в № 12 «Севера» за 1991 год под заголовком «Луна запуталась в березе», «Слово Лешему» в № 8 «Севера» за 1992 год и «По весне, по осени» в № 3 «Севера» за 1993 год.

Весь цикл: фиксация течения жизни в вепсской деревне Нюрговичи с отступлениями и допущениями, называется «Местность».

УБЕРИТЕ ЖУПЕЛ, ПРОФЕССОР. ПОДСНЕЖНАЯ КЛЮКВА. ПАХОТА. ФОРЕЛИ И РАКИ. ИДУЧИ ПО НЕВСКОМУ. СУХАНОВ ВЕРНУЛСЯ. ВЕПСКИЙ ЛЕС

Проезд в автобусе от Питера до Шугозера стоит тысячу — и ничего, едут, в основном, люди приземленные, то есть кормящиеся от земли; земля окупит расходы, обнадеживает на завтра; безземельный по нынешним временам — неприкаянный бедолага. Правда, находят выход: торгуют кто чем, многие бананами; бананов везде завались, дешевле соленых огурцов; как будто мы — банановая республика...

Ну, а что же автор «Записей»? Как явствует из уже опубликованного, мой огород не возделан, и дачник я никакой: не лежу в гамаке, варенья в зиму не вариваю, рыбачу дай Бог на ушицу: моя охота в вепсских лесах вся умозрительна. Для чего же еду? куда так спешу, несколько даже задыхаюсь — боюсь опоздать к началу чего-то? Чего?

В моей деревне Нюрговичи, в верхней ее части Сельге; то есть на Горе, тотчас принимаюсь за писание «из себя». Не писать не могу, мною руководит некое Существо, Дух Природы. На Горé Природа обступает меня со всех сторон, повелительно входит в меня, требует слова.

Однажды я назвал всепроникающее Существо на Горé Лешим; Леший заговорил, мог бы разговориться, но все же это — мистификация, а я реалист: пишу мои вирши, живется легко. На Горé в меня входит ни на что не направленная сила; я становлюсь никем не ангажированным писателем. Что? Уже было? Ну, потерпите минутку. Поехали дальше.

На Горе я впервые заговорил стихами, стал возделывать мой поэтический огород, полюбил мою грозу в начале мая, пережил мою унылую пору, очей очарованье.

Положа руку на сердце, могу сказать, что руководящее мной Существо на Горе — мой Леший за мои бескорыстные усидчивые письменные труды, совер-

шенно необязательные в данной политической ситуации, иногда вознаграждает меня, поощряет, приласкивает. Вот, вышел случай: я был в Москве, исполнил, что требовалось исполнить в столице нашего государства без границ и государственной доктрины; мой поезд отходил в Санкт-Петербург за полночь; шел пятый час пополудни. Мои московские телефоны не отвечали, наличных средств посидеть вечером в ресторане Центрального дома литераторов никак не наскребывалось, скамеек на московских бульварах раз, два и обчелся, да и сколько высидишь на скамейке? Деть себя было решительно некуда. Нога за ногу плелся все же в направлении ЦДЛ — старая, десятилетиями натопанная колея. У входа в ЦДЛ стоял Толя Ткаченко, такой же сивобородый, как я, друг моей молодости: вместе жили на Сахалине в начале шестидесятых. И потом во всю жизнь ни он, ни я не сделали ничего такого, что бы нас развело, — редкий случай, почитай, все писатели разведены по разным платформам. Толя сказал, что сейчас придет Швыденко: «Ты помнишь его, он был лесничим на Сахалине, а сейчас научный сотрудник международного Лесного института в Вене, он знает тебя». Пришел Швыденко, европейский мужчина из Вены, мы вспомнили друг друга, порадовались встрече. Пришли еще двое, тоже из мира старого неомраченного дружба. Сели за стол в ресторане, прочли меню, мы с Толей Ткаченко усмехнулись в седые усы: как недалёковидны были наши фантасты! Если бы кто-нибудь из них десятков лет тому назад в полете фантазии назвал бы грядущую цену ну, скажем, на карпа в сметане по-цэдээльски — общеупотребительное блюдо, ему бы никто не поверил; это — суперфантастика. Карп стоил 700 р. за 100 г. «Ну что, ребята, ударим по карпу?» — весело озирая застолье, спросил Швыденко. Четверо приглашенных к столу потупились. «Каждый карпик потянет грамчиков на 350, выйдет поболее двух тысяч на карпа», — остерег официант. Швыденко торжествовал: «Всем по карпу! Я дома в Вене собираю друзей на чашку чаю, это мне обходится в сто долларов, для меня пустяки. Что будем пить?» По мнению европейского человека, пить следует джин наилучший голландский. Джин нашелся. А тоник? Как, нет тоника? Это не европейски. Ну, ладно, минеральной воды и льду, льду побольше. На закуску семгу, севрюгу, сациви из кур, помидоров, огурцов и травки!

И полетела душа наша в рай, так хорошо погуляли мы по долинам и по взгорьям давным-давно завязавшейся нашей дружбы. Тут подошло мне время сесть в поезд зеленый. Очнулся в Санкт-Петербурге: что было со мной? А то и было: мой Леший, то есть его напарник, мой добрый Ангел наслал на меня доброхота Швыденко, в прошлом сахалинского лесничего, ныне ученого института в Вене, с его не закрывшейся для дружбы душой, с валютной мошной.

Ну, спасибо!

Шапку в охапку и бегом на Вепсовскую возвышенность.

11 мая 1993 года. Нюрговичи. Гора-Сельга. Половина шестого вечера. Дует север. По берегам озера шкурки снега. На осинах лист в копейку.

В Шугозере купил в ларе «Сникерс» за 220 р. Съели пополам с бывшим кандидатом в мастера по академической гребле, инструктором туризма, только что вернувшимся с Селигера, преподавателем теоретической механики, дачницей с Горы-Сельги Галиной Алексеевной. По рекламе «Сникерс» содержит в себе сливки, шоколад, солод, сою (соя преобладает) — все необходимое для жизненной активности.

Профессор Дюжев в журнале «Север» укорил меня, то есть мои «Записи одного лета» в неактивной жизненной позиции, в «самоизоляции», а еще и в том, что как интеллигент-шестидесятник завел народ в нехорошее место, подобно козлу во главе бараньего стада, ведущему бляшек на бойню. «Он ясно осознает отсутствие каких то ни было отношений с «кормящей землей» и, как многие купившие избы горожане, предпочитает жить на «нуле жизнеобеспечения», — написал про меня профессор. А потом еще вот что: «...в недалеком прошлом он обязан был принести себя в жертву на алтарь партии».

Ну полноте, профессор, мой ноль жизнеобеспечения я не отдам за там и сям возводимые хоромы «новых русских» с их прилипшими к рукам миллионками, с их активной жизненной позицией. Что касается отношений с «кормящей землей», земляца всех нас покуда, слава те Господи, кормит. А картошку я тоже, будьте спокойны, сажаю, но в меру сил, в меру сил. Что вдохновляет меня на склоне лет, так это открывшаяся возможность писать мои вирши, опять-таки в меру сил, по наличию в душе восторга перед жизнью. Что правда, то правда, бывало перенапрягался. От чего избавился с облегчением, так это от активной жизненной позиции, с которой нам, пишущей братии, всю плешь переела наша красная профессура. Чего желаю и вам.

Насчет «интеллигенции, оставшейся не у дел после августовского путча...» Это вы про кого? Не надо, профессор, унифицировать, всяк сверчок знай свой шесток. Едва ли русского писателя можно подвести под общую папку «интеллигенции». Ну какой же интеллигент Рубцов, Шукшин, Белов, Абрамов? — правда, в Абрамове было то самое доцентское, доктринерское... Классиков я не касаюсь. Нынче «интеллигенция» — это в недавнем прошлом красная профессура: Собчак, Попов, Бурбулис, Гайдар — самые интеллигентные верха в истории, а вы говорите...

Знаете, профессор, во время оно я, бывало, сживал с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым у него в саду в Карачарове над Волгой, и до того не возделанный сад, каждая яблоня, каждый куст росли насколько отпущено им природой. Иван Сергеевич лукаво улыбался в бороду, говаривал, что должно же быть место, где из природы — кормящей земли не извлекают выгоду, хотя бы для домашнего стола, не обрезают, не прививают, не вскапывают. Сад у Ивана Сергеевича так был похож на хозяина, лежала на нем печать гармонии, высшего смысла.

Кого я любил, с кем искал случая повидаться, покуда были живы, так это Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Юрий Казаков, Василий Шукшин. К Казакову приеду в Абрамцево — батюшки светлы! участок леса поболее гектара, сад-огород, господский дом в два этажа — в поселке академиков: Сталин жаловал, чтобы верно служили, а жизнеобеспечение у Юры Казакова на нуле. И так он маялся, так хотелось ему пожить, как баре жили, ну хотя бы захудалый помещик Иван Бунин, чтобы усадьба была обихожена, а рук не хватало. Увы, и помер Юрий Павлович Казаков — царствие ему небесное! — впад в своей усадьбе в Абрамцево в полное запустение. Все же для этого случая слуги нужны, хотя бы садовник с кухаркой, как у Антона Павловича Чехова.

Казакову в отечестве — с его-то талантом — перепали гроши за редко печатаемые рассказы; кормился от заграничных изданий от случая к случаю.

Дачу в Абрамцево купил на присужденную ему в Италии премию Данте...

Нет, милостивый государь профессор Дюжев, у русского писателя в переживаемый нами исторический момент (то есть в только что пережитый; что станет с нами, мы сами не знаем) силенок хватало на единственное свое поле кормящей земли — словесное; как он его возделывал, что собирал, на то не было воли даже у партии. Ну, конечно, одним переплачивали, других держали в черном теле.

Вы пишете: «Ставшее безработным поколение писателей-шестидесятников ныне отказывается вершить политику и создает этику индивидуальной свободы». Что же, выходит целое поколение мыслящих от лица нации великомучеников слова могло себя обрести вне этики и свободы — конечно, индивидуальной, какой же еще? Произведения прозы шестидесяти годов, без которых мы бы так много о себе не узнали, это что же — «жертва на алтарь партии»? «Матренин двор», «Привычное дело», «Пряслины», «Последний срок», «Царь-рыба», «Северный дневник», рассказы Шукшина — духовное наследие писателей-шестидесятников... А сколько еще не столь известного, но сущего, честного, талантливого — разве подлежит списанию как «крушение иллюзий»?

Другой же литературы о нашем времени нет. Уберите жупел, профессор, не застрашивайте ротозеев пассажирами типа: «той самой интеллигенции, которая, будучи легальной оппозицией, многое сделала для горбачевской перестройки». Не надо, не забегайте упэрэд прогресса демпрессы.

Литературные ценности нынче внедряют в сознание выборочно тенденциозно, как эталон, как пароль для входа на Олимп, как повод для покаяния предлагают канонизируемую триаду: Ахматова, Зощенко, Пастернак... Далее — апофеоз ниспровержения: Солженицын... Хотя Александр Исаевич еще не сказал и свое последнее слово. А затем вообще ничего, глумливая мерзость ничевочества.

«Перестройку» по-горбачевски, то есть переворот, вторую революцию в России в XX веке, с обратным знаком, подготовила не «легальная оппозиция» в литературе, а сама система с каким-то лихорадочным радением собирала материал в собственный обвинительный акт. В упоении вседозволенностью, пополам со страхом за собственную шкуру, согласно сталинской догме «обострения классовой борьбы», клепали дела на Ахматову, Зощенко, Пастернака, держали под колпаком, выдворяли за бугор, сажали интеллигентов, прежде всего писателей, среди них и искренне готовых послужить отечеству. Система сама себе копала яму, так и рухнула — под тяжестью предьявленных ей улик. Надо всеми головами возобладали хор обиженных, а пострадал, страдает, Бог знает, как спасется безмолвствующий, ни сном ни духом не причастный к судьбам художественной интеллигенции народ — наш кормилец.

«Легальная оппозиция» в русской литературе в шестидесятые и другие годы исповедовала не «революцию» по Горбачеву или Ельцину, а истачивала идеологический мир, полагая, что нравственность есть правда, внушая народу веру в себя, как в Бога. И истины ради вспомнил всеобщий вздох облегчения при первых откровениях так нужной всем гласности, пусть ныне оплеванной... Далее вышло не то, что чаялось, быстро оперилась новая кривда — под лозунгом демократии; и наверху все те же знакомые лица, только оркестру заказана новая музыка; трубы ревут. Не посчитали накопленного добра, не подорожили добром, ожесточились, ошетинились до такой степени, что ищем причину зла не в безбожии новоявленного лавочника-нувориша, не в накинутах нам на шею демпетле, а все там же, в литературном сочинении: так доступно, близко лежит, ежели правдиво, талантливо, то и откровенно беззащитно... И как мы спешим, как бездумно перенастраиваемся, сколько в нас готовности к самооплеванию...

Но кто же, кто скажет правду, если не русский писатель с Господом Богом в душе, пусть нынче лишенный слова, пусть «безработный»?!

Конечно, в свое время успех литературного сочинения, будь оно издано в госиздате или самиздате, зависел прежде всего от заключенного в нем заряда несогласия с системой, которая всем обрыдла. Но самиздатчик обладал привилегией откровенного антисоветчика; «легально-оппозиционному» русскому писателю дозволено было без обиняков высказать разве что любовь к отечеству, да и то при условии, что земля его предков не токмо Россия, но суть первое в мире государство рабочих и крестьян. Легальный правдоискатель вынужден был прибегать к уловкам, иносказаниям, владеть искусством подтекста, то есть оттачивать мастерство, дабы придать сочинению проходимость. Сочувственное прочтение требовало душевной готовности у читателя, затрат интеллекта. Нынче свобода печатного слова и непечатного тож... На поверхность вышла литература без подтекста, прочитываемая без умственного усилия. Ротозей возобладал над читателем. Никому и в голову не приходит, что чтение содержательных книг — это труд если что прибавляющий, то в голове, но никак не в кармане. Все думают о кармане. Понадеемся, что не все.

Теперь о степени свободы самоизъявления. Тут вы правы, профессор Дю-

жев, в моих «записях» я разоткровенничался и писал-то вначале не для печати, для исповеди перед самим собой. Человеку, даже такому, как я, некрещеному, исповедь помогает помириться с маетой бытования, с самим собой. «Записи» напечатаны, с них и спрос другой, вы правы. Все мы, пишущая братия, так или иначе восприняли завет Антона Павловича Чехова выбрасывать себя из сочинения за борт, следовать правилу объективной непричастности и т. д. и т. п. Нынче все правила — увы! (а кому ура) — аннулированы общественной ситуацией, то есть снятием всех запретов; пошла игра без правил. Сдержанность, благопристойность, нравственная мотивация характеров и поступков в литсочинении стали ну, что ли, излишни. Бывало, сетовали: в русской классической литературе человековедение начинается выше пояса; теперь распоясались. Смеею предположить, что при чтении Чехова у современного, даже благовоспитанного, читателя может образоваться усмешка в уголках губ. В самом откровенном рассказе А. П. Чехова «про себя», в «Даме с собачкой» герой Гуров увивается в Ялте за миловидной дамочкой — обычная вневременная история, даже с последующей гальванизацией пылких чувств. Но у Чехова роман плотский лишь подоплека для нравственной коллизии: персонажи рассказа «Дама с собачкой» кидаются в объятия друг другу, поскользну... жена у Гурова духовно чудное ему существо, говорит толстым голосом, называет мужа претенциозно «Димитрий»; отсюда и мужнина неверность, вот вам и нравственная мотивация. Современный читатель может остановиться и усмехнуться: «Да полноте, Антон Павлович, а если бы жена у Гурова была хохотушка, называла бы муженька Митяем, что ли бы Гуров не поволочился за «дамой с собачкой» в Ялте? Потребность превыше мотивации. Для того Ялта и предназначена»...

Разумеется, это я не в укор Антону Павловичу Чехову. Чехов пришел к нам во всем обаянии своей божественной скромности, преподавал правду жизни, очищенной от низких истин, дистанцировал персонажа от собственного «я». В нашем литературном обиходе зазор между героем и автором как бы стерся; с одной стороны повальная (бульварная) беллетризация, с другой — выборматывание самого себя с придыханием, как у В. В. Розанова в «Опавших листьях»...

У Юрия Казакова есть рассказ «Трали-вали»,¹ написанный в 1962 году. Уж как поносили этот рассказ за неактивность, «самоизоляцию» героя Егора. Егору все трали-вали, зажжет свои бакены, попьет водочки, послушоблудит со случайными гостями в сторожке, покличет подружку Аленку с того берега... Но есть у Егора талант изливать душу в песне, старинной, русской, всеми забытой, кроме него. И вот приходит время, душа созревает для песни, Егор знает такое место на берегу, где песне вторит сама природа, подпевает Аленка. Егор поет до полного изнеможения, до такого просветления в душе, что обливается слезами от восторга перед чем-то одному ему внятном. А потом все опять трали-вали.

Никто не заметил, что Казаков написал рассказ о себе самом, герой даже внешне походит на автора: у Егора «сонное, горбоносое лицо» — и у Юрия Казакова, взгляните в его портрет в какой-нибудь из книг... И писал он так же, как Егор пел, неудержимо стихийно, порывом, а после впадал в меланхолию, пьянство, все становилось ему трали-вали. Говорят, что талант от бога, но талантливых метит и Сатана.

Или рассказ Шукшина «Миль пардон, мадам», по-моему тоже очень личный, «автобиографический». Станный малый Бронька Пупков, один из шукшинских «чудиков», водит приезжих на охоту, в последний вечер на берегу реки у костра разыгрывает «спектакль одного актера», по собственному сценарию поставленный, самим Бронькой отрежиссированный, с паузами, репризами: «Прошу плеснуть!», — с кульминацией и трагической развязкой, с последующим мучительным выпадением Броньки, автора-исполнителя, из круга общего

внимания в постылую заурадность сибирской деревушки. Спектакль Броньки Пупкова — помните? — о том, как по заданию недосыгаемо великих мира сего, по воле рока Бронька совершил покушение на Гитлера, в войну... Последняя реплика в представлении, со слезою навзрыд: «И я промахнулся». После жена приголубит Броньку за его художества: «Скот лесной», и председатель колхоза приструнит. Бронька вывернется — и в магазин за бутылкой. Но как высоко он летел, как наслаждался искусством, вниманием огорошенной публики, до чего силен, властен над человеком вселившийся в него бес лица-действия! Ну да, конечно, художественный талант.

Я думаю, в рассказе «Миль пардон, мадам» Василий Шукшин сымпровизировал самого себя, ежели бы судьба его сложилась по-иному, без Москвы, ВГИКа... Что бы случилось тогда с его природным талантом сочинителя-лицедея? Как бы ни шпыняли Броньку Пупкова односельчане, вся жизнь его, весь смысл, все счастье — выйти на публику, обратить на себя взоры, исполнитель спектакль, прорыдать напоследок: «И я промахнулся». И — «Прошу плеснуть». Бронька Пупков артист-сочинитель, как сам Василий Шукшин, только небообразованный, дикий, так сказать, негативный вариант...

Ну ладно, я уклонился от темы моих «записей». На чем мы остановились? Да, ехали с Галиной Алексеевной из Шугозера в Харгеничи, и вот в автобус садится малый не то что пьяный, а выпитый до последней мути в стакане, до тихого ужаса. Пьяный именно тихий, ему не выговорить слова до половины, не завершить ни одного жеста. Он хочет от чего-то отмахнуться, заносит руку, но рука выпадает, будто и не рука, а пустой рукав. На малом какая-то летняя кацавейка, замызганная, в заплатах, болтающаяся, как на огородном пугале, штаны состоят из заплат, в них опять же как будто нет ничего телесного, и костяка словно нет в мужике. На нем резиновые сапоги, его лицо в мочального цвета щетине, с набухшими розовыми веками, утратило признаки человеческого образа; глаза открыты, но ничего не видят, никуда не глядят; во рту один клык и заслуженная сигарета. На голове рябая кепочка сдвинута на затылок — признак былого ухарства; мужик не старый, не молодой, да и не мужик, так, гриб-поганка. Водитель автобуса отнесся к пьяному по-знакомому, усадил на ближнее к себе сиденье. Села баба, по-весеннему загорелая, как все здешние; пьяный подавался к бабе, шевелил губами; баба отодвигалась.

Он вышел в придорожной деревне у лесосклада. Баба обернулась к едущим, сообщила: «Он мать убил, такой змей, родную мать зарезал». Едущие промолчали.

Я думал о пьяном, таких, бывало, выписывал Иван Алексеевич Бунин, например, Серого в «Деревне». Да нет. Серый был не такой, тоже пропиивался в лоскутки, однако из образа человеческого не выходил. Пропойца в России всегда что-нибудь значил, выражал — в национальном характере или общественной ситуации. А этот на Вепсовской возвышенности — вне характера, вне ситуации? Отсидел срок, или за убийство матери у нас не берут? Что с нами происходит?

Автобус с жужжанием, как майский жук, влезал на склоны вепских нагорий, на все стороны открывались вербно-желтеющие, молодо-зеленые, с блескучими разливами дали. Была на дворе весна 1993 года, месяц май, начавшийся кровопролитием в Москве, русские побивали русских...

Почевали у Текляшевых в Усть-Капше, у Ивана и Маленькой Маши. Иван пришел выпивши, с белыми кудряшками на голове, с вепскими лазурными глазками, весь крепенький, быстро все делающий, в военной куртяшке, улыбочивый, то и дело закуривающий, но в сенах: в избе Маша не разрешает. Иван с еще одним мужиком десять дней рублили баню для Соболя. Соболю приехал принимать работу, поставил водку и угощение.

— Был совхоз,— сказал Иван,— а теперь — как не знаю по-русски, ик-

цинерно общество. А так один х... Робили и робют. Ишо и хуже стали робить. Которые директора, начальники, бригадиры, те дома строят...

— Стро-о-оют,— подпела Маленькая Маша,— ишо как строят, спеша-а-т, пока ихнее время.

Маша подавала на стол картошки, творог, молоко, чаю с сахаром.

— Мы с Машей за Ельцина проголосовали,— похвастался Иван.— У нас собрание было, один из Тихвина приезжал, агитировал за Хасбулатова. А мы не знаем, какой-такой Хасбулатов. При Ельцине войны не будет. Мы за Ельцина голосовали.

— Мы ду-у-умали,— пела Маша,— на пенсию с Иваном выйдем и проживе-е-ем. А никак не получа-ается без своего куска-а, без скотины.

Мы вышли с Иваном на волю. Иван, как всегда, водил меня по усадьбе, показывал произведения собственных рук.

— Вот колодец вырыл, сын помогал. Я внизу, а он в ведре землю вытаскивал.— Мы заглянули в яму колодца со срубом внутри, до воды было глубоко.— Вот бороны сделал, наши вепские, картошку боронить.— Бороны — ежи, из елок с сучьями, дохристианские, языческие орудия.— У этой сучья потолще,— пояснял Иван,— сразу после вспашки боронить, а у этой тонкие, когда взойдет картошка, сорняки выдергивать. А это сани лес возить.— Полозья у саней из двух берез вытесанные, не гнутые на передок, с корневищами.— Вот баню посмотри.— Из новехонькой, рубленной из ели бани пахло банным духом.— Печка у меня сложена,— докладывал Иван,— а топим по-черному, я по-другому не знаю как, у нас по-черному.

Мы присели на бревно, закурили. Иван рассказал мне байку, уже мною от него слышанную; Иван полагает, что мне это интересно: новелла, сюжет.

— Ты напиши,— наставлял меня Иван,— я-то плохо знаю по-русски, я вепс, а ты напиши: в нашей деревне, на том месте, где ты жил. Хведор Колодкин, у него родители богатые были, я не знаю, какие богатые, но так говорили. Он-то, Хведор Колодкин, брал в жену Ольгу с Берега. К родителям жить привел, а тем чего-то не поглянулась Ольга-то, не знаю, чего. Они Хведору говорят: «Ты с ей не живи, отправь ее, пусть уходит». Он ей сказал, она и ушла. Ты слушай, я по-русски не очень умею, может, что не так говорю...

— Все понятно, Иван, я слушаю.

— Ты погоди. Слушай. Он-то, Хведор, женился на другой Ольге, из Харагеничей. Она магазином заведовала, а Хведор в лесу на заготовке. Он из лесу приходит, она его встречала и вино подавала, сколько, значит, его утроба требовала. Каждый день Хведор вином напивался, а у ее растрата, ее посадили. Хведор опять холостой. А на Ребовом Конце жила ишо одна Ольга. Он к ей женихом подвалил, а уже ослабел, года вышли или ишо что, пил много, не знаю. Он к этой Ольге-то на Ребовом Конце подселился, в первую ночь на печь залез и ничего не может. Она, Ольга-то с Ребова Конца, посмотрела на такое дело и прогнала Хведора. И вот он один жил, на том в аккурат месте, где ты, и у него была коза. Он козу-то на веревочку, маленькую в магазине купит и пойдет на Берг к Ольге, первой жене, поживет у её, козу доит, а потом в Харагеничи к другой Ольге, та уже из тюрьмы вышощы, и у ей поживет. Оттуда на Ребов Конец к третьей Ольге, та тоже его принимала. И коза при ём. В дороге на пенек сядет, из маленькой отхлебнет, козу подоит и дальше. Я понятно говорю?

— Понятно, Иван.

— Так и помер Хведор-то. От одной Ольги к другой шел и помер. Коза в избу приташилась, на том месте, где теперь ты. Ты напиши.

Перед сном Иван с Машей разговаривали о гуманитарной помощи. Привезли немецкое сухое молоко, раздавали по избам, а у хозяев свои коровы.

Ивану это не понравилось: не тем давали, а молоко порошковое против коровьего дерьмо.

— Не говори-и чего не смей-ишь,— пела Маленькая Маша,— молочко-о сухое тако хоро-ошее, разбавишь его кипятком и за милую душу-у, и детям полезно-ое. А ты иди-и спать.

Утром Галина Алексеевна, в прошлом кандидат в мастера по академической гребле, села на весла, лодка побежала по шелковой глади нашего Озера. Прибрежные березы, ивы стояли по колено в воде. На осинах белели свежие погрызы бобров: егеря-бобролюбы слиняли с нашего берега, бобры размножились, активизировались. Я просил гребчиху дать мне весла (в одно время с Галиной Алексеевной тоже занимался академической греблей), но она не давала, наслаждалась каждым гребком.

Против виднеющегося сквозь голизну стволов и ветвей дома фермера Марьясова на мысу (говорят, он подался на заработки на лесозаготовки или еще куда-то) Галина Алексеевна рассказала:

— Мы осеньплы из Нюрговичей в Усть-Капшу, вот на этом месте видим: котенок по берегу бегаёт, отчаянно орёт. Марьясов уехал на несколько дней, котенка оставил. Мы повернули к берегу котенка накормить, а он в воду бросился, плывёт навстречу лодке. На борт вскарабкался, мы ему даём у кого что было, а он, оказывается, не есть просит, а чтобы его погладили. Мы его погладили, он утешился, за борт выпрыгнул и уплыл домой.

Вот какая история.

Пополудни на Сельге.¹ Дует северо-запад. На небе ни облачка. Затоплена печь. Съедена итальянская тушенка из Болоньи — биф мит. И до того сухая, постная, вымученная еда для русского желудка, и ни жиринки. На банке обозначено, до какого срока можно употреблять. Нашу свиную тушенку, а хоть и говяжью, бывало в банку замуруют, тавотом банку намажут, чтоб не ржавела,— и на веки вечные, можно в землю зарывать для грядущих поколений. Нашей тушенкой армии вскормлены, войны выиграны (и проиграны), месторождения полезных ископаемых разведаны, БАМы построены, леса сведены, не говоря о пище засушью простолюдина. Нашей тушенки банку всперешь, в ней сала до краев, и мясо шибко вкусное, дух притягательный. А что биф мит из Болоньи?! — тьфу! Резиновая жвачка. За западной упаковкой тянемся, как младенец за цацкой, а в упаковке одни ингредиенты без запаха и вкуса. Меж тем наш рынок-барахолка весь отдан «Сникерсам» с «Марсами». Ничего худого в «Сникерсе» нет, а и что хорошего отдавать 220 р. за стрючок соевой сладости?

В нашей деревне у Алеши и Оли умер козел Борис, коего в знак уважения звали Б. Н., объелся зацветшей вербой и сдох. Однако же успел козлище заделать у двух коз пятерых козлят, все живехоньки, уж сами травку щиплют, бодаются, скачут — весело!

Алеша Гарагашьян с Олей зиму отсторожили деревню, все цело, только на Берегу к одному экономному дачнику, отказавшемуся платить сторожам, залезли и нанесли тридцать ножевых ранений байдарке. Я платил, у меня все цело.

— А так зимой не хуже, чем летом,— рассказала Оля,— такие открываются дали... У Алеши вездеход, куда хочешь можно поехать...

Алешин вездеход представляет собою чудище обло, огромно... Колеса у него — камеры от «Урагана», военного супервездехода, на камерах приуязнены перепонки. По снегу на широких лыжах провалишься, а Алешин вездеход пройдёт. Мотор у него от мотоцикла «Урал», скорость может развивать до сорока километров; на вездеходе Алеша вспашет всю землю, какая есть в Нюрговичах, посадят картошку.

— Алеша весь в технике,— сказала Оля,— он не хотел на огороде копаться. В прошлом году так посадили картошку, а собрали целую тонну. Сами

всю зиму ели, и коз кормили, и на посадку осталось. Теперь уже Алеша загорелся картошку сажать.

Еще вышел случай: осенью Ада съезжала из купленной ею у деда Федора избы — насовсем, не прижилась. За нею приехал из Питера военный КамАЗ, с семью ведущими мостами. Двух коз Ада оставила Алеше с Олей с условием, что вернется и заберет. Алеша помог ей погрузиться, припозднились, уже был ноябрь, выпал снег и растаял. Помахали ручками, Ада отбыла в Питер.

Через час приходит бедная Ада к Алеше: КамАЗ до Берега не доехал, завяз по уши. «Алеша, только на тебя надежда, поезжай в Корбеничи, достань трактор, за водкой не постою». Алеша сел на вездеход, в ночь поехал. В Корбеничах трактористы спят, трактора неходячие. В Усть-Капше один тракторист пообещал утром завести гусеничник. Приехал, выволок КамАЗ, так на буксире и потянул. Алеша вернулся домой, отмылся, поел, приготовился спать, тут пришел тракторист: «Дай бензину трактор завести». Оба завязли в плывуне, и КамАЗ, и трактор. Алеша бензину дал, тоже поехал. Трактор завелся, кое-как вылез. Привязали к трактору КамАЗ, трос лопнул, и не срastить, коротко.

Оказалось, что Алеша умеет ловко расплестать-сплестать тросы, сплел, дернули и наконец поехали.

На прощание Ада говорит: «Без тебя, Алеша, я бы пропала, бери коз насовсем». Впрочем, кажется, и козла.

На собственноручно сделанном мотоцикле Алеша проезжает от Сельги до Корбеничей по дороге, непроезжей для военных КамАЗов и гусеничных тракторов, за двадцать минут.

Я приехал (приплыл) в деревню, пришел к Алеше с Олей, Оля сказала, что погас свет: бобы подпилили осину на линии, порвались провода, Алеша только все сделал, осину убрал, и опять все погасло. Алеша уехал на линию. Вскоре, страшно рыча мотором, Алеша въехал в гору, рассказал, что электрики вырубают свет в Нюрговичах: легче, за линией не смотреть — так прямо на столбе и вырубил. Алеша влез на столб, подключил. На линии электропередач Корбеничи-Нюрговичи идет войца на столбах.

Днем Алеша провел свет в мою избу, то есть в избу Владимира Соломоновича Бахтина, давным давно вырубленную из сети. Варится каша на электроплитке — какая прелесть, какой маг, чародей поселился в нашей деревне!

Алеша сказал, что они с Олей построят дом, скотный двор, гараж, мастерскую. Дом окнами на Озеро, с верандой. Жить будут чем? А козьим молоком, оно калорийнее коровьего. Еще Алеша посылает мотолюбителям чертежи своего всепроходящего мотоцикла. Он опубликовал в журнале «Мото» материал о мотоцикле, ему пишут некоторые чудачки, просят прислать такую-то деталь. Алеша отвечает: вы мне деньги, я вам чертежи. Приведу выдержку из Алешиного материала: «Кажется невероятным, что один и тот же мотоцикл без каких-либо переделок и дополнительных приспособлений может летать по шоссе со скоростью 140 км/ч, буксировать прицеп массой 500—600 кг, взбираться на любой подъем, совершать многометровые прыжки, ползти по непролазной грязи, проходить броды глубиной до одного метра. Мягкая прогрессивная подвеска делает приятной даже езду по разбитой дороге».

Ну вот, в нашей деревне появился еще один печатающийся в периодических изданиях автор.

Алеша сказал, что они с Олей будут жить здесь всю жизнь, потому что лучшего места, чем Нюрговичи, он не видел, хотя объехал весь север, Карелию, Новгородскую, Тверскую, Вологодскую области. Алеша Гарагашьян учился в Политехническом институте, работал тренером по мотоспорту, мать у него известный архитектор-реставратор в Питере. Алеше 29 лет.

14 мая. 4 часа пополудни. Стихло. Прихмурилось. Весь май — половина — был ласковый, гладил по шерстке. Приходил к крыльцу рыжий кот, прежде кооператора Андрея, нынче Алешин с Олей, с ними перезимовавший. Кот почему-то содрал шерсть с обоих боков и с хвоста, Алеша с Олей считают: коту стало жарко. В окно видно: прилетает к луже сорока, жадно пьет, как с похмелюги, а сама бело-воронья, золотистоперая, холеная модница.

Нет жаворонков в небе, так пусто-грустно. Были скворцы и не стало, теперь сгнули жаворонки. Где вы, птицы Божии, что с вами стало в пути? какая сожгла вас буря в пустыне? Так скучно без вас. С запада тучи наносят. Зеленокудра весна. Ветер подует и бросит. Заповедь соблюдена: не предаваться кручине, славить пришествие дня. Как подобает мужчине. Боже, помилуй меня.

Вчера плавал в лодке по Озеру. Вода небывало высока, зима была снежной. Природа в оцепенении, в подспудной работе распускания листьев; на днях зацветет черемуха, набухли на луговине коконы-бутоны купальниц-купаев. Полнейшая бесчеловечность: нигде ни души. Ходят грозы, прогромы-хивает, словно остерегает: вот ужо. Парно.

Сбегал (со скоростью 3 км/ч) на болото, нашел подснежной клюквы, новой для меня ягоды. То есть ягода не новая, но я предстал себе внове: собирателем подснежной клюквы. Клюква зарылась в мох, плавает в лужах, видно, что ею пользуются медведь, глухарь.

Подснежной клюквой надо дорожить:
она дает медведю шанс пожить.
Усох медведь в берлоге по зиме —
прибавит клюква в теле и в уме.
Оголодавший, тощий, как сухарь,
подснежной клюквой кормится глухарь.
Сижу в болоте на трухлявом пне,
подснежной клюквы хочется и мне.

Полное затишье, ни ястребов, ни жаворонка, ни ласточки, ни стрижа. Утром напек блинов, поел с кофейным напитком «Кубань», со сгущенкой. Вскрывал огород. Читал Ивана Алексеевича Бунина, надо сказать, без упоения, еще «Деревню», «Суходол» с их ужастями и личным началом — сошло, а вот холодно-искусно выделанные штучки, какой-нибудь «Крик» — увольте. Заглянул в комментарии, там только и говорится, что Бунин стал хорош по совету Горького, не посоветовал бы Алексей Максимович, так бы и прозябал Иван Алексеевич. И все это мы съедали большими дозами, постоянно маялись синдромом цинической лжи. Как любят восклицать один мой высокоумный товарищ: «Ах, бедные мы, бедные!»

А предисловие Твардовского к первому у нас собранию сочинений Бунина? Александр Трифонович пишет и как будто сам не верит: надо же — какой смелый, о Бунине похвально пишу, никто до меня не решился. И вот шпыняет своего кумира: «оторванность», «неспособность разобраться», «сословная предвзятость», «белоэмигрант» — при этом как бы мысленно обращается к Бунину: «Сами понимаете, Иван Алексеевич, без этого бы не прошло». Все верно, но до чего же грустно.

Звенит тишина. С той стороны Озера двоит кукушечий голос.

Того гляди распустятся купавы; стоят на косогоре, будто павы. Их лица желты, головы круглы. В избе просели печка и углы.

19 мая. 8 часов утра. Чога. Река Чога по весне опровергает излучины, превращается в спрямленный стрежень, катит, бежит с урчанием, воем, вскри-

ками, нутряным бульканием. Черная вода, белая пена, оранжевое дно, серые валуны. Переговариваются кукушки.

Много лет носился с мыслью угодить в черемуховый цвет, но все не совпадало: то опоздаю, то раньше времени слиняю. Заголовок к написанному (еще не написано было) время от времени вякал в заглавнике: «Черемуховый рай». И вот угодил в самую черемуху, сначала в Чоге, здесь она зацвела раньше, потом еще в Сельге, на Горе. Черемуха цветет, но раем назвать Чогу было бы прекраснотушим. Черемуха цветет буднично, просто, укротно, и запах от нее ненавязчивый, не нахожу для него другого слова, как милый. На Новгородчине говорят: от черемухи хороший воздух. Здесь тоже Новгородчина, тоже хороший воздух.

У меня в избе на одном окне три ветки черемухи в глиняном горшке с узким горлом, в таких на покос брали воду или клюквенный морс,— и так красиво: белизна, зелень, терракота. На другом окне букет купальниц — так чиста, ярка, нежна их тонкая желтизна, так соразмерны, совершенны их девические головки с раскрывшимися лепестками, так остро-зелены листья.

Все же я побывал в черемуховом раю, срок пребывания не истек. Может быть, в небесной канцелярии мне выписали краткосрочную путевку в рай, за мои отдельные добродетели, с обязательным возвращением... Ну, не в ад, так в быт.

Собственно, в Чогу меня привела всеобщая императивная обязанность посадить картошку. Картошка у Соболя, лошадка у моего соседа Ивана Николаевича Ягодкина. То есть и уздечка от лошади в руках все того же пушистого зверька.

5 часов утра. Восходит солнце, поют все птицы, не поклевавшие белого горошка селитры, рассыпанного по полям молодцами Соболя. Непродолжительный концерт. Не машет палочкой маэстро. Как будто отменили смерть, так звонки горлышки оркестра.

Концерт — смерть — рифма худая, другой не нашел.

На Горе в ночь ходил за глухарями. Хрустнул, где не надо, спугнул большую черную птицу. До того они все нервные, глухари, в нашем бору, столько раз всех нас, дачников, видели, каждого знают в лицо. Соболю у меня спросил: «Вот вы, Глеб Александрович, говорите, пишете: «Пошел послушать глухаря». Вы что, их не убиваете?» Я принялся наводить тень на плетень, строить туры на колесах. А на самом деле:

Осторожны мои глухари,
не поют по прошествии ночи
на разливе весенней зари...
Постарел я, ребята, короче...

Еще из лесу принес, опять же об утреннем птичьем концерте:

Как будто чухарские руны
играет на кантеле дед,
так внятно-разборчивы струны...
Восток в багряницу одет.

С моим соседом в Чоге Иваном Николаевичем Ягодкиным у меня есть нечто родственное, коренное, ну да, русское. Он сельский люмпен, дорабатывает до пенсии сторожем на очистных сооружениях в совхозе у Соболя, в покос на покосе, на огородах, на пастбище, где что можно сшибить, ну и, разумеется, выпить. Дом держится на Дарье. О, Дарья, из тех русских баб... И далее по Некрасову.

Мой дед Иван Иванович Горышин в деревне Рыкало Новгородской губернии тоже был по психологии люмпен; хозяйство, семья на бабе Варе, в семье шестеро ребятишек; хозяин ганивал барки со швырком в Питер; барки тоже распиливали, продавали. Вернется дед с деньгой в кармане и «гвоздит», его «гвоздарем» в деревне и звали. Когда дед «гвоздил», то в дом не допускался и ночевал «на плану». Бабушка Варвара была строгой, рассудительной, происходила из эстонских колонистов с острова Сааремаа на Новгородчине. Эстонцы хозяйствовали на новгородских подзолах и суглинках рачительнее, нежели коренные русские. Да примерно об этом и у Бунина в повести «Деревня» герой Тихон Ильич, прижима-мироед, так рассуждает: «Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели — и не только по пьяному делу, — все помогают друг другу (...) А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники...»

И вот мы сидим на лавочке с Иваном Николаевичем, покуриваем, разговариваем. Он что-нибудь скажет: «Ты сам-то ограду не городи, зятя пригони». Я ему: «Зять у меня специалист по компьютерам, сутками сидит программы составляет, надо семью кормить». Иван Николаевич глянет на меня, ничего не скажет, и так выходит, как будто мы знаем друг друга как облупленные, одного поля ягоды. Такого у меня не бывает с вепсами, тем более с дачниками, с Сободем.

Михаил Михайлович Соболев белорус, приехал как молодой специалист по распределению, быстро пошел вверх, колобком покатился, на колобок и похожий: весь из округлостей, пухлорукий. И до того проворный, хваткий, я видел, как он сеть выбирал, рыб из ячей выпрастывал — все от рук отлетало.

Я завожу с соседом разговор о лошадке — огород вспахать, он вызверивается: «Да у меня вон целая деревня, мне бригадирша сказала, чтоб никому без оформления в совхозе. Николаич один, а вас...» Соболев просил за меня Николаича, он и на Соболя вызверился.

Дмитрий Семенович Михалевич, доктор технических наук, тоже мой сосед по Чоге, дачник с двадцатичетырехлетним стажем, благожелательно, как старший младшему (хотя я постарше его), излагал: «Я убил глухаря. Он запел как-то лениво, видимо, уже поздно, делал паузы. Но я к нему подошел и убил. Вообще охота на глухаря не такое простое дело, как принято изображать. Ну, да вы-то знаете».

Я кивнул: да, знаю.

— Ребята из Кильмуи, — продолжал Михалевич, — американцев водили на глухариный ток поближе к Тихвину. Сначала под магнитофонную запись репетировали, как подходить под песню, а на току подводили: американцы дублировали каждый шаг егерей. По глухарям ребята сами стреляли, чтобы наверняка. Американцы только присутствовали. А то знаете, деньги уплачены — и вдруг без трофея вернутся домой, это же обидно. Охота на глухаря — дело сложное, капризное.

Я напечатал рассказ в журнале «Охота и охотничье хозяйство», вы не читали? — спросил Дмитрий Семенович.

— Нет, не читал.

— Вы знаете, неожиданный для меня успех. Столько откликов, и еще просят...

Жена Дмитрия Семеновича принесла альбом фотографий: побывала в гостях у сына в Голландии. Сын Михалевичей получил голландское подданство, работает и учится, разговаривает по-голландски, как голландец. «Вот это ему дали домик, шесть комнат. А это он машину купил».

Я хлопал ушами (за ушами трещало от подаваемой Альмой Петровной вкусной пищи), не умея постичь секрет успеха, умения жить в свое удовольствие в этой стране (тем более в другой) в это время.

— Ребята из Кильмуи,— досказывал Дмитрий Семенович,— зимой берлогу держали на примете. Медведь в ней как-то худо лежал, зад наружу торчал. Афишировали медвежью охоту, но охотников не нашлось, все же дороговато: две с половиной тысячи долларов.

Приезжал Соболев, мы душевно беседовали, впрочем, директор больше изъяснялся экивоками, этому его научило директорство в совхозе, теперь в акционерном обществе. Мужики про него говорят: был соболев, теперь куница. «Я здесь семь лет директором,— докладывал мне Соболев.— До меня директора больше четырех лет не держались. На акционерное общество меня выбирали: девяносто процентов за, десять против. Теперь процентов тридцать против». Почему так, не сказал. «Вывеску сменили, а все осталось, что было. Денег хватает, строимся, дом культуры заканчиваем, ссуды даем специалистам на строительство. Зарплату я регулярно выплачиваю. Механизаторы на посевной зарабатывают по сорок тысяч. Дисциплины нет никакой, раньше было сдерживающее начало, вроде как идея, пусть ложная, но была. Теперь все воруют, ташат комбикорма, горячее, посевной материал. У нас хозяйство откормочное, за кормами зимой в Вологодскую область ездили, за соломой. Поголовье пока держится на том уровне, что было... Но, знаете, я думаю, чтобы акционерное общество действительно заработало, надо контрольный пакет акций отдать в руки одного, ну, двух человек». Соболев посмотрел на меня, ожидая моей реакции, но для меня «контрольный пакет акций» все равно что «консенсус фракций» — сотрясение воздуха. Я только понял, что Соболев готов взять в свои руки бразды правления и при новом порядке, но что-то мешают.

Он родом из Гомельской области, там у него отец с матерью, родня, там зона заражения Чернобыльской АЭС; у его близких у кого щитовидка, у кого паралич. Взять их сюда — им уже не поможет, и там у них дом, сад, скотина, родная земля. И там все пропитано смертью, обречено.

А здесь Михаил Михайлович Соболев — самый влиятельный человек, собственно, все на Соболе, будь то мост через Озеро, лошадка огород вспахать, курица, поросенок, воз дров, крыша над головой, зарплата. Соболеву 32 года.

Он еще раз свозил меня показать свой новый дом, выстроенный в стороне от поселка, на берегу Пашозера, на прежде бросовой, мелиорированной земле. Дом как бы декоративный, прятнично-расписной, внутри рубленый деревянный, снаружи облицованный крашеным кирпичом, в два этажа, с русской печью, тоже декорированной, с камином с узорной решеткой, с витражами в дверях, росписями на потолках — разлюли-малина. Хлев полон скотины, дети Соболева пьют свое молоко. Стекла в доме Соболева уже раз высадили. Я подумал, что лозунг «Мир хижинам, война дворцам» еще будет выкликиваться, побуждать к действию. Но не сказал хозяину дома. Впрочем, дом у Соболева вполне скромный, отнюдь не дворец, просто выражает вкус и запросы хозяина. Хозяин заглядывает в будущее: завтра лишится директорского кабинета — засучивай рукава и паши, земли много, вода рядом, мой дом — моя крепость.

— Здесь зайцев полно бегают,— сказал Соболев, указывая на опушку леса, простирающегося в Карелию, Вологодчину,— а здесь волк проходит, у него вон там логово.

В конторе бывшего совхоза «Пашозерский» ныне акционерного общества «Пашозерское», все то же, что было, множество барышень что-то пишут, считают. Барышни сельские, вдвое пошире городских, загорелые: время сажать картошку. В кабинете Соболева Ильич, прежде висевший над головой директора, теперь переместился в задний левый угол, вставлен в стеллаж, но все так же смотрит с прищуром. Директор что-нибудь кричит в телефон, нажимает кнопки, входят широкобедрые барышни, дают бумажки на подпись. Соболев громко командует, легко возбуждается, срывается, тотчас успо-

наивается, закуривает хорошую сигарету, улыбается, но без отрыва от производства, без перекура.

— Я здесь уже семь лет,— еще раз похвастался Соболев,— но, знаете, все равно им чужой...— сказал таким тоном, как родители жалуются на неблагодарных детей: мы им все, а они...— Я так люблю деревню Чога,— сказал Соболев,— я ее ставлю классом выше, чем Нюрговичи. Я бы в Чоге жил, если бы не дети, детям в школу далековато. Я раз под вашей избой за спиннинг форель поймал на 800 граммов.

Деревня Корбеничи, уже описанная мной, все такая же... В ней постоянные, проходные персонажи моих «записей»: медик Андрей, его жена Юля, дед Федор Торяков, Жихарев, пекарь-лавочник Михаил Осипович и др.

Медик Андрей с Юлей и маленькой Настей садились обедать, пригласили меня. Обед состоял из пакетного супу, чаю, хлеба, а больше нет ничего. Андрей сказал, что ему платят 9 тысяч рублей, Юле поменьше. Дом держится на козе. Я еще раз выслушал похвальное слово козьему молоку. Козу новожители нашей местности понимают как краеугольный камень благосостояния, ну, разумеется, будущего. Сбывшегося благосостояния у новожителей не бывает. Старожители пили коровье молоко, хлебали простоквашу, коз не держали.

Андрей сказал, что собирался купить корову, обещана была бригадиром Корнешовым, но бригадир... передумал. Что же вы, товарищ бригадир? Завтра вас лихманка схватит, вы в медпункт, а медика и след простынет: от козы семейство не прокормится. Такого медика, как Андрей, поискать.

Против дома Федора Ивановича Торякова прикручивали веревкой к старой черной ольхе корову. Очереди на прикрутку дожидалась другая корова; стояла стайка корбеничских чухарей. Барышня в синем халате всаживала корове шприц с вакциной — делала прививку.

Дед Федор сидел на лавочке у избы на солнцепеке, в ватном бушлате, в фуражке не то с лесной, не то еще с какой-то кокардой. Весь он был дуже зимний, потусторонний (вспомним, дед Федор 1901 года рождения, причастен к созданию первого колхоза, прошел всю войну от Капши до Эльбы, после войны председатель колхоза в Нюрговичах). Издалека, задолго до этой нашей встречи с дедом Федором, уже в избе Текляшевых в Усть-Капше, бабушек Богдановых в Харегеничах, в Чоге, в кабинете Соболя в Пашозере я слышал, что деду Федору дали неподъемную пенсию 45 000! «За что? Зачем ему столько? Молодой работает, старается, ему шиш, а этому...» Про деда говорили: «ишо как бегае», «водочку пьет».

Деда не то чтобы осуждали, не то чтобы завидовали ему, но бывшее прежнее, хотя бы подспудное, почтение к его возрасту и судьбе теперь уничтожилось суммой пенсии: 45 000.

Дед узнал меня, повел в избу, и первое слово, какое он мне сказал, было о том же самом: «Да знаешь, Глеб Александрович, такая жизнь пришоццы. Сумасшедшая пенсия. Прошлый месяц сорок шесть тысяч выдали, что они там думают? Лучше бы поменьше давали, а товар бы был. А то и по рюмочке мы бы с тобой выпили, нет никого в магазине. Мы с бабкой жили, корову держали, я сорок рублей получал да бабка, а лучше жили».

Дед Федор, самый богатый человек в нашей местности, получающий от государства поболее директора Соболя, стал варить с помощью кипятивничка яйца, достал ржавую селедку, печенью. «Прости, больше нету ничего у меня дак. В магазине шаром покати».

Поодаль сидел пес Малыш, посматривал серьезно, сочувственно.

— Чем пса-то кормишь, Федор Иванович?

— Да знаешь, Глеб Александрович, хлеба даю, картошек, чего сам, того

и ему. Бабка когда помирала, говорит, ты пса-то не отдавай, пусть при тебе. Ну ладно.

— Скучно, Федор Иванович? — не удержался, спросил у деда, хотя скука одинокой старости зияла из каждого угла, и в глазах девяностодвухлетнего Федора Ивановича Торякова, ветерана войны и труда, наплывала мутная скука. Обнадежить деда было нечем. Однако дед не сдавался: вокруг печи стояли семь мешков приготовленной к посадке картошки, на огороде топтались семеро дедовых барашков, на лавке лежал только что насаженный на вытесанное из березового полена топориче топор. Дед вытесал, насадил, заклинил, будет колоть дрова.

Уходить от деда Федора было как-то неловко: уйти значило оставить его одного, погрузить в несносную скуку. А и сидеть с ним не легче: дед Федор совсем оглох, в глазах у него такая беспомощность, такая глубокая безнадежность...

— Спасибо, что зашел, Глеб Александрович.

— Спасибо, что ты есть, Федор Иванович.

Над Алексеевским сельсоветом реял красный флаг с серпом и молотом, совсем как в поэме Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом». Да, отнюдь не трехцветный, красный флаг бывшей державы. Что бы это значило? Не у кого спросить: председатель совета Доркичев Николай Николаевич вчера ушел в отпуск. Доркичев — вепс из деревни Озровичи, вон там за угором, за Алексеевским озером, в мареве голубизны, прозелени, в белых сугробах черемух. Право, черемуховый куст как сугроб. На Руси в любое время года чудится возвращение снега: снег сойдет, тотчас зацветет, все выбелит пролеска, потом звездчатки, черемуха, желтые одуванчики поседеют, яблони, рябина, болота в пушицу оденутся, тополевыи пух полетит, снова белым-бело, иванчай снежинками закружится, глядь — и первая пороша.

Шел в Озровичи через кладбище — одно на всю округу: здесь упокоились корбенические, нурговичские, озровичские, харагенические, может быть, и из Долгозера, Нойдалы... Кладбище хорошее, видать, в давнюю пору обнесено каменной кладкой, просто нааношено камней, грядкой сложено. Кладбище в бору, просторном, со взрослыми соснами, без подлеска; бор, заозерье. Я подумал, что после смерти здесь будет нескучно лежать. И при жизни мне не бывало скучно на этих угорьях, в этих лесах. В Питере скучно до рвоты, а здесь можно жить. Даже и после смерти.

Николай Николаевич Доркичев, как всегда в последние три года, строил дом для сына Володи; Володя тоже строил дом вместе с отцом; дом большой, уже под шифером. Володя закончил курсы фермеров в Пушкине при сельхозинституте, но пока еще не решился, как быть.

Я спросил Доркичева насчет красного знамени над сельсоветом, он как будто обеспокоился: «Да, это мы на несколько дней вывесили по случаю Дня Победы, для наших ветеранов. Они же под красным знаменем победили. Надо будет поменять на трехцветный...»

Ну, ладно, ну, хорошо.

А 190 р. за два часа использования лошади на вспашке в Чоге я все же внес в кассу а/о «Пашозерское». Спасибо Михаилу Михайловичу Соболю! А вспашет Иван Николаевич Ягодкин. Так что дело на мази.

22 мая. После почти целого солнцепеклого мая вчера как с цепи сорвался под вечер, задул север, с заходом на восток, да такой неприязненно холодный, вражий. Бедные черемухи замахали белыми ветками, затрепетали. Моя избобкана Горе как раз стоит мордой в два окна на север, и вот ее вет-

ром по морде, все выстыло. Печь топил вечером и утром. Голод — скверная штука, но холод еще сквернее. Забирался на печь, и там не сладко, оббил косточки о кирпичи.

Утром сеяли-сажали с Алешиной Олей редис, укроп, морковку, свеклу, кабачок, картошку. Вчера я делал грядки, знал, как их делать, это у меня от природной новгородской огородницы бабушки по маме Марии Васильевны, и мама любила огородничать, и тетушка Лиза. Помню, в войну в Тихвине, в 43-м году первые овощи с грядок укладывались в ящик, отправлялись в Ленинград с первой оказией маминой подруге медицинской сестре Марии Терентьевне Семешко.

Ну вот, в эту весну я позанимался земледелием, собирал подснежную клюкву и все другое, известное из прежних записей. Север не унимается, черемуховые ветви мотаются, словно кому-то велено отрясти с них белый цвет. Но цвет держится. Холодно потому, что зацвела черемуха. Внизу, в Пашозере, когда я был, черемуха уже отцветала — и ни холодного ветерка за все время цветения, ни дуновения холода, а у нас на Горе, с опозданием на десять дней, но все по правилам, с холодрыгой.

В небе ни ласточки, ни стрижа. Никто не замечает, а так невыносимо пусто.

Шел с ведром из-под горы... Само собой сложилось стихотворенье.

И сложен человек, и полигамен,
а понесут его вперед ногами.
Хотя привержен был Хаяму,
опустят в вырытую яму
и сверху комом пригвоздят.
А сами сядут и нудят:
какой хороший был покойник,
почти полковник.
Уж это точно, что майор.
Потом склонится разговор
к предметам, нам неинтересным.
А между тем невдалеке
лежать покойнику чудесно,
в по мерке сшитом пиджаке.
И над могилой пустота,
лишь слышен слабый мявк кота:
взыскупя снеди поминальной,
мяукнет серый кот печальный.
В кого-то выстрелят шутя.
Заплачет малое дитя.
А так путем и все по чину:
пол-литра брали на мужчину,
для женщин был шато-икем
и исполняли реквием.
Носил покойник имя РЭМ:
Революция. Электрификация, Марксизм.

Третьи сутки неистовствует север, учинил черемуховую пургу; черемуха цветет, из всех силенок держится, но где же слабым лепесткам устоять против злого ветра? Черемухи облетают. Холодно на дворе, в избе как в погребу. Скоро пойду в Харагеничи, в Чогу, поеду в Питер, в Москву. И вернусь. Теперь нельзя не вернуться: явятся на свет из почвы мои росточки: укропины, редиски, морковки, свеколки, картошки. Профессор Дюжев в журнале «Север» укорил меня в отсутствии связи с «кормящей землей». Да я и сам себя

укорял. И грядки отлаживал, семена в почву погружал не для прокормочного овоща, а чтобы помириться с собой (и овощ небось утешит). То и дело просыпаю соль, выламывая из окаменевшей за зиму пачки. Просыпать соль — это к споре. А ссориться-то с кем? Только с самим собой. Оглажу грядку — и помирюсь. Вот какой я наивный.

Вчерашний день главным образом шел из Сельги в Чогу. Тропу до Харагеничей пробежал хорошо, за два часа, Харагинское болото перебрел за десять минут, в пути перекуривал один раз. В автобус сел с благоговением — экая карета-экипаж! На кабине картина: в виде трех богатырей изображены Ельцин, Руцкой и еще кто-то, гнусная харя. Рядом с ними портрет большого котенка. Шофер в автобусе все тот же, рыжий. Пассажир в салоне я один.

У Шукшина есть рассказ «Рыжий», о какой-то обязательной у рыжего нужде в самоутверждении. У Шукшина рыжий — прелесть. Кто-то его задел на Чуйском тракте, ну да, он ехал, тот ему навстречу и задел. Рыжий развернулся, догнал и врезал на всю катушку. В таком месте, где Чуйский тракт отгорожен столбиками от пропасти. В конце рассказа Василий Макарович задумчиво соображает: я с интересом присматриваюсь к рыжим.

На демократическом верху немало рыжих, я тоже к ним с интересом присматриваюсь: самоутвердились, а дальше что?

Рыжий шофер автобуса Шугозеро-Харагеничи привез меня к дальнему магазину в Пашозере; я пошел полями в Чогу, размышляя на фенологические и орнитологические темы. Возвращение снега — реставрация белизны в нашей природе происходит с трогательным постоянством. Под окном у меня в Чоге облилась молоком яблоня, и белые ночи как отраженный небом снежный покров. И наше лето — мгновение междуснежья.

Увидел сидящую на проводе ласточку — первую ласточку нынешней весны. Так обрадовался: «Ласточка, касаточка!» Такая она была родная. Почему ласточки не прилетели в Нюрговичи? Ведь прежде примазывали свои гнезда к каждой избе, врывались на чердаки с пищей в клювах, к ждущим бесперым птенцам. Где вы, касатки? Неужто на вас подействовала изменившаяся демографическая ситуация в вепской деревне? Никто не знает и не задается этим вопросом. Да и в Чоге я видел всего двух ласточек.

Вечером Соболь, в клетчатой кепочке с пуговкой, с сигаретой в зубах, кидал в Чогу форелевые блесенки на спиннинге. Все получалось у него ловко, точно, по-пижонски, небрежно и в то же время со страстным азартом. Форель у такого ловца не могла не пойматься и поймалась.

Холодно, пасмурно, дует ветер.

22 мая. Чога. Вчера был день пахоты — посадки картошки. Впрочем, картофельная посадка длится уже две недели. Местный мужик — непременный участник посадки — сказал: «Две недели каждый день пью, как начали сажать картошку. Кому посадим, угощают».

Посадка картошки — артельное дело, местные сажают как бы наравне с дачниками. Хотя как наравне? Вначале надо сходить в совхоз (пишу постаринке «совхоз», «акционерное общество» длинно), заплатить за лошадей. Лошадей в совхозе всего четыре или пять, а пахать не перепахать. У местных свой черед, дачники пасут Ивана Николаевича Ягодкина, в его руках узда — одна лошадиная сила. Собственно, остались дачницы; дачники в воскресенье вечером, в понедельник ранешенько сели в лимузины, укатили в Питер. Легко вывести, что дачники в Чоге солидные люди — тузы: съездить на своих колесах на субботу-воскресенье за 350 километров, во что обойдется один бензин? Я, бывало, тоже прикатывал фраером на моей «Ниве», а теперь стал сухоньким дедушкой (при вхождении в рынок похудел на 21 кг), с бородкой,

стюкой, мешком за плечами, по определению профессора Дюжева, безработный шестидесятник.

Пришел в Чогу, первым делом шасть к Ивану Николаевичу, как «насчет картошки дров поджарить?» Иван Николаевич, навеселе, обложил меня матом четыре этажа, хватило бы на целый словарь современного русского языка, на Невском у Дома книги продавать. Маленько зная это наречие, я было тоже завелся; стоявшая рядом, над душой Ивана Николаевича, дачница мне объяснила: «Вы не обращайтесь внимания, Иван Николаевич хороший, это он так, его надо знать».

Затем наступила неопределенность, погода скуксилась. Деревня всем гамузом, с лошадей, плугом, бороной, бабами в платках, мужиками в пляжных чепчиках с пластмассовыми козырьками, с надписями «Сочи», «Вильнюс», «Карпаты», — ребятишки, собаки, вместе со всеми и куры с петухом — на свежую пашню; на червей — перемещалась с огорода на огород; кто-нибудь из мужиков брал лошадь под уздцы, кто-нибудь правил плуг; над огородом повисал густой мат; в свежую борозду каждый кидал картошку. Ну, хорошо.

Вечером я видел: Иван Николаевич увел лошадь на ту сторону Чоги, на зеленую мураву, там спутал, сложил из приплавленного дровяного хлама большой костер-дымокур. И так красиво было: вороной конь в зеленом лугу, окаймленном приветно журчащей рекой, дым костерный: ночное.

С утра я разрезал большие картофелины пополам, складывал посадочный материал в бумажные мешки. Какой-либо ясности насчет пахоты на моем огороде не было. На соседний участок въехал трактор «Беларусь» с однолещным плугом, побегал взад-вперед, быстро взрезал все поле. Проехал по улице гусеничный трактор с дисковой бороной; машинный парк увеличился, проехал КамАЗ, УАЗ, проносились мотоциклы с колясками, «Запорожцы», «Жигули». Дарья Васильевна провела по улице домой Ивана Николаевича, кривуляющего ногами. Все стихло, опустело.

Я пробовал читать «Апологию сумасшедшего» Чаадаева, не читалось. В сених загрохали сапоги, пришли трое: лесник Боря, с добрым, осмысленным, может быть, даже интеллигентным лицом; сложись его судьба по-другому, мог бы стать профессором-гуманитарием или архимандритом; с ним двое парней-трактористов, все поддатые, но без злости, добрейшие. Все трое пердвигались в пространстве, как рыбы в аквариуме, замедленно, спонтанно. Привели коня, оказалось, что его зовут по-собачьи Шарик. Поставили Шарика в борозду, один из трактористов повел его за узду, но парня заносило, борозды не держал. Боря сказал: «Ты брось, уйди, Шарик сам знает». Тракторист ушел, идущий за плугом Боря сказал Шарiku: «Прямо», — далее Шарик все делал сам, если кто-нибудь из пахарей ему мешал, он мотал головой, поправлял огрехи.

Вспахали-взборонили, по паханому провели борозду, покидали в нее картошки. Пришли помочь дачницы: Алья Петровна, Мария Васильевна. Прошли плугом, закрыли картошку; вскоре образовалось мое картофельное поле по всем правилам агротехники.

И затем угощение; трактористы быстро слиняли; мы с лесником Борей предались упоительно-сладостной беседе о самых интересных на свете предметах: глухарях, бобрах, форелях, налимах, медведях. На прощание Боря приобнял меня, демонстрируя железо мускулов. Я тоже принапрягся, но признал: «Да, Боря, ты сильнее».

Сегодня погожий прохладный день. Иван Николаевич Ягодкин пасет свою скотину: корову, нетеля, бычка. И жаворонки в небе уж подняли трезвон, здешние, чогинские жаворонки.

Двенадцать часов ночи. Ночь окончательно выбелилась.

Последнее утро, да и не утро еще, начало соловьиного концерта, первые дымы из труб: затоплены русские печи, в руках у баб ухваты, в чугунах

варево для скотины. Все то же, что было всегда. Прохожу большим, вытянутым вдоль Пашозера селом с тем же названием. В каменных домах фасадом к северу живут мои нурговичские вепсы: Пулькины, Цветковы, Мошниковы. В каменных домах печей не топят, спят праведным сном.

Жду автобуса на остановке. Мимо прошел грузовичок рыбоведа из Усть-Капши Валерия. Валерий проехал, но стал притормаживать, соображая, кто я таков, стоит ли брать в кабину. Попятился, взял. У Валерия русобородое ясноглазое русское лицо. Он спросил у меня:

— Все еще пишете?

Я как будто повинился:

— Пишу.

— А я художественной резьбой по дереву увлекаюсь. Это мое любимое дело, что-нибудь выйдет, и на душе радость.

Валерий купил у Соболя то, что осталось от рыбхозяйства в Усть-Капше, теперь он рыбофермер. В свое время Соболев загорелся мыслью развести в садках раков и продавать их в Париж. Послал мужиков в раковые места на Капше, раков навываскивали; рыбоведа Валерия приставили к ракам.

Я спросил у Валерия о раках. Его лицо омрачилось.

— Соболев был за раков, его мало кто поддерживал из руководства совхоза, кормов не подвозили. Я же не могу мучить животных, мне больно за них. Я их выпустил в Капшу.

Ну вот. На главном форелевом питомнике Новолодожского рыбоколхоза в Лукино зимой что-то сделали не так, форель переохладилась, всплыла кверху брюхом. Описанная мною в похвальном роде форелевая ферма Трошковых на Харагинском озере прекратила свое существование. Первые фермеры в нашей местности, молодые романтики-горожане, все до одного прогорели. Фермер на Долгозере картошку вырастил, выкопал и не вывез: дороги нет. Зимой картошка померзла, фермер так и сидел на своем богатстве, оголодал, одичал, кажется, тронулся рассудком. А так... Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо.

2 !

Всякий день хожу по Невскому проспекту, не из прихоти, не для урочной прогулки, а по нужде: купить хлеба в булочной у Думы, а иногда еще и пару слоев с павидлом, по названию гипфели. Войду в булочную, пробьюсь в толчее к прилавку, гляну и выбьюсь в то место, где последний в очереди, он же и крайний. Стою, вспоминаю то время, когда брал в свои руки хлеб с полки, нес его напоказ кассирше, отсчитывал серебро и медь. Помню и давнее время, после войны, как нынче, с чеками, с продавщицами за прилавком. Все вернулось на круги своя, побаловались — и будет. Доверие к человеку соизмеримо с его сытостью, платежеспособностью. Ну да, и с ценою на хлеб.

Вот вижу человек моих лет (помоложе), на вид приличный, неопустившийся, купил рогалик, тут же впился в него зубами. Сочувственно, с интересом смотрю в глаза такому же, как я, петербуржцу.

— Что, вкусно?

Петербуржец отвечает мне искренним, понимающим взглядом:

— Да, вы знаете, время от времени очень хочется что-нибудь съесть. И с этим ничего не поделать.

Мой современник не лжет, мы приблизились к истине, может быть, главной, но постоянно чем-нибудь затушевываемой. Ее, кажется, высказал Максим Горький: человек есть то, что он ест.

Выйду из булочной, взгляну на часы на башне Думы — главные в городе часы, указующие каждому петербуржцу час его пребывания в этом мире, — батюшки! думские часы безбожно врут, на эту сторону башни стрелки так,

ту эдак. Ложь поступает с самого высокого места на Невском проспекте. Что-то не так в этом мире.

У входа в метро на канале Грибоедова играет на трубе широкомордый малый, выражением и телосложением похожий на шефа средств массовой информации Полторанина. С трудом, с перебивками, с хрипом выдувает из трубы одну-две фразы из вальса «Амурские волны»: «Серебрятся волны, серебрятся волны...» Трубач сбивается с фразы, врет. У ноги лежит его шапка с мелочишкой. Однако трубач упорен, устойчив не на своем, явочным порядком захваченном месте (опять же, как упомянутый шеф). Фальшивый рев его трубы влетает в общий диссонанс текущего момента.

Момент течет, движется толпа; ты посторонний в толпе, однако движешься вместе с нею. Перетекание от лжи к истине внешне неуловимо. Само движение, равно как и стояние праздного люда среди бела дня, представляется ложным. Хотя, если присмотреться, люд на Невском не праздный (хочется продолжить в рифму: и труд напрасный). В подземном переходе под Садовой улицей торгуют с рук собачьими и кошачьими детьми. Дети высунули мордочки из-за пазух своих хозяев; у них в глазах покорное непонимание; в этом месте дети не играют, не резвятся, не подают голоса. Трудно поверить, что это живые существа; что станется с ними, сколько им еще сидеть за пазухой, ждать своей участи? Никогда не видел, чтобы в этом переходе кто-нибудь кого-нибудь купил. А и купит... Сколько брошенных, бездомных наших младших четвероногих братьев?! До слез жалко собачьих детей, кошачьим все же как-то легче...

Вспоминается история, рассказанная в свое время Ольгой Берггольц. В войну поэтесса поехала в часть, где натаскивали собак кидаться под танки с взрывчаткой. Расчувствовалась: «А собачек не жалко?» На что ей резонно заметили: «Людей жалче».

В переходе под Невским сыро, полутемно, играет разнообразная музыка, притоптывают, припевают на попугаичьем языке замороженные роком бедные наши худосочные юнцы, негодные к воинской службе по недоразвитости. Примостился на ящике мой ровесник с гармошкой...

Послышатся всхлипы тальянки
по мере схождения вниз,
о бывшей когда-то землянке
играет седой гармонист.

Глаза его впали и узки,
потупленный взор не горит;
вздыхая басами, по-русски
о чем-то гармонь говорит.

И вспомнишь душой неусердной,
как бабушкин ласковый сказ...
О, Господи милосердный,
помилуй беспамятных нас!

Как-то я видел в переходе под Невским пели папа, мама и мальчик лет десяти, в общем, молодая, как говорится, работоспособная семья. Все трое были зрячие, но пели, как слепцы, с невидящими, устремленными в высь глазами, будто читали молитву: «Выстрел грянет. Ворон кружит. Мой дружок в бурьяне неживой лежит». Петербургская семья просила подаяния Христа ради.

Их горлышки трепетно тонки,
их неутоляема грусть.

В уставленной наземь картонке
бумажки нестоящей хруст.

Я сытый, не прошу Христа ради, но я видел, слышал, ЭТО во мне, моя душа сжата пястью отчаяния кого-нибудь из моих сограждан. Один человек, побывавший во многих странах, сказал: «Ты грустный; нигде в мире нет таких грустных лиц, как у нас». Это в нас человеческое, когда это выбьют — рекламой «Сникерсов» и шоколада «Серената», — наступит царствие сатаны.

Идучи по Невскому в чайнии пищи засушенной, всякий раз заглядываю в главную — по местоположению, площади торгового зала — кулинарию. Пища засушенная — одно, но в главной кулинарии на Невском есть еще и другое. Кто бывал на этой фабрике-кухне (а кто из петербуржцев не бывал?), должно быть, догадался, куда я клоню. Ну да, к главному прилавку с цыплятами «табака», заливными в формочках, тушеной капустой со свиной, перловой кашей, винегретом, пловом, жареными навагами и хеками. За прилавком стоит (два дня стоит, два отдыхает) ничем особо не примечательная женщина в белой курточке. Отстоите очередь, поравняетесь с хозяйкой ассортимента яств, скажете ей: «Мне полкило винегрету и триста граммов плова». Она поднимает глаза, распахнет ресницы, и вы унырнете в такую голубизну, в такую незатуманенность, в такое васильковое поле... Она вам скажет: «Сегодня плов у нас не очень удался, возьмите лучше капустки со свининкой». Как привередливый петербуржец вы проворчите: «А это съедобно?» Несъедобного у нас не бывает, — постоит за свою фирму синеглазка из главной кулинарии на Невском. И вы возьмете капустки со свининкой.

Впрочем, все это было и миновало, я позволяю себе ретроспекцию. Долгое время прикармливаясь из главной кулинарии (по старым ценам), однажды, приблизившись к обладательнице немыслимой голубизны глаз, я сказал, то есть как-то само сказалось: «Вы меня давно кормите, мне без вас все равно не жизнь. Давайте поженимся». Синеглазка посмотрела серьезно, не удивилась; ее глаза имели оттенки для каждой фазы души. Сказала без игривости, как решенное: «Давно пора». Я спросил: «Как вас зовут?» Она ответила: «Татьяна». Я тоже назвался.

Итак; она звалась Татьяна. Все ее существо как бы отвечало предназначению: утолять голод, обслуживать, быть хозяйкой стола, с женской уютностью, мягкостью, любовью. В русской манере, в северном исполнении.

Разумеется, я пошутил: мой лимит жениховства выбран — но и вслух по мечтал. Татьяна меня поняла, осталась по ту сторону прилавка, я — по эту.

Со временем очереди у Татьяниного прилавка не стало. Вошедший в кулинарию прочитывал цены, остолбеневал, шевелил губами, что-то шептал. Татьяна стояла за прилавком одна-одинешенька, как брошенная после масленицы в великий пост Снегурочка. Иногда к ней кто-нибудь подходил, она взвешивала на блюдечке толику винегрету или еще чего-нибудь, выдавала к блюдечку ложечку. Толика тут же съедалась. И я подхожу, уныриваю в Татьянины омота, осведомляюсь: «Танечка, как ваша жизнь?» Она распахивает ресницы, отвечает серьезно: «По-всякому. А как ваша? Вы похудели».

Мы все похудели. Не только потеряли в весе, но и... нам всем стало худо... Тут меня могут прервать: помилуйте, оглядитесь вокруг себя, вы что, не видите шикарных лимузинов с твердокаменными в них господами, дамами в мехах? Спросите у этих джентльменов и леди удачи, каково им в новой реальности Невского проспекта — в бывшей столице бывшей империи, бывшей колыбели революции, бывшем городе-герое, ныне бастионе демократии? У них на лицах написано, что за свою удачу, за свой час фортуны они постоют. Удача, фортуна, то есть наличная валюта из воздуха не берется, а пере-

распределяется: одни хапают, других оберут. Обобранных в наше время пруд пруди, но и на хапанувших шапки горят...

Зайдите в валютный магазин против бывшего ресторана «Кавказский»... То есть вначале постоите в очереди у защелкнутой двери с охранником в камуфляже. Дверь отщелкнется, и вы попадете в этот военизированный объект. Вы встретитесь с взглядом второго охранника, тоже в форме колониальных войск. Его взгляд как продолжительный выстрел в упор, лицо, прицеливающееся в прорезь, как у телеобозревателя Киселева. Упреждающий взгляд-выстрел охранника военизированного валютного магазина подавляет в тебе потенциального грабителя, а также вопрошает: зелененькие есть? Ах, нет?! Куда лезешь, со своим суконным рылом в калашный ряд?!

Многое на Невском нынче защелкнуто для тебя, «старого русского». «Новые» в свой рай за так не пускают.

Впрочем, Невский проспект искони принадлежал двенадцати языкам, в отличие от московских изогнутых улочек (не говоря уж о провинции); русский элемент на нем едва уловим (разве что гармонист да красавица Татьяна в кулинаруи). В наше время и подавно: латиница на вывесках преобладает над кириллицей, особенно часто встречается словечко shop (на ум почему-то приходит балетная сюита Глазунова «Шопениана»). Однако желаемого кем-то сходства с рю, виа, авеню, штрассе, стрит у Невского проспекта все нет и нет. При крутом нашем вхождении в рынок-барахолку, обрастая слепоглазыми монстрами-ларьками, Невский проспект обретает черты колониальности. Такая уличная торговлишка, как у нас, имеет место в Калькутте или в Бомбее, с тех пор как Индия была колонией. Но статус колонии определяет метрополия. Мы — чья колония? Господа петербуржцы, вы не задумывались над этим?

В Китае тоже процветает уличная торговля и торговлишка, но там продают, в основном, китайский продукт. Никакой водки, кроме китайской рисовой, может быть, настоящей на женьшене, вы не купите в ларьке в Пекине, Шанхае или Нанкине. Тем более чаю. Идущий по улице китайского города иностранец, будь то американец Джон или русский Ваня, не вызывает повышенного интереса. Китайцы исполнены самоуважения. А мы?!

Вот идет по Невскому иностранец, все равно какого подданства и расы. В кем-то выбранном месте к нему подсыпятся наши даже еще не отроки — подпески, малышня, опоздавшие вступить в пионерскую организацию, примутся что-то всучивать иностранцу, чего-то от него требовать, — «мани», чего же еще — и уже не отступятся, не отпустят или передадут банде таких же жучков-малюток. Чего, заметим, в метрополиях не бывает, только в колониях, пусть обретших независимость, но сохранивших пережитки.

Помню, раз был в Индии с туристической группой. На всех остановках на нас накатывали россыпи индийской малышни-голытьбы, всучивали цветные камешки, требовали «ченча», «маней» или как протягивали смуглые ручонки за подайнием. Ладно хоть в Индии тепло. В нашей группе была одна партийная дама, все сокрушалась: «Как они докатились до этого ужаса? Ведь в детях будущее страны. Почему не строят социализм? У нас же при социализме такое невозможно...»

В Шри Ланке, в Коломбо, я как-то попал под изрядный тропический дождь. Тотчас у моих ног запрыгал с зонтиком шриланкийский ровесник моего внука Васи. Он подпрыгивал как мог высоко, чтобы зонтик оказался у меня над головой. В одной руке зонтик, другую он протягивал за вознаграждением. Тронутый участием отрока другой расы (тамила или сингалеза), не зная, чем его отблагодарить, я чистосердечно посоветовал: «Беги домой к маме». Отрок прислушался к звуку неведомой ему речи, что-то в ней уловил, поскакал босиком под дождем, радостно выкрикивая: «Беги домой к маме!»

Нашего отрока в Санкт-Петербурге на такую халяву не возьмешь.

В Индии, других бывших колониях, где довелось побывать, не раз слышал, что вышедшее на панель на вольный промысел дитя человеческое никогда не вернется к учению, к каким бы то ни было трудам, не поверит, что можно прожить трудами, не узнает, что такое человеческое достоинство.

А наши дети, наши внучата, промышляющие нынче на Невском проспекте, — вернутся, поверят? Ах, бедные, бедные наши дети, наши внучата! Бедные мы!

И что еще характерно: цыганки на Невском не гадают, не ворожат, цыганята не приплясывают. Гаданья-ворожба-приплясыванья перенесены в концертные залы, телестудии. Цыганки с младенцами, завернувшись в рубища, сидят на панели против Думы, не просят, как будто и не ждут подаяния, тихонько, безропотно погибают посреди многолюдного проспекта, нечеловечески равнодушного к судьбе, беде, гибели кого бы то ни было.

Можно свернуть за угол, пройти вдоль фасада «Европейской» гостиницы, сделать шаг из колонии на авеню метрополии, совершенно тебе чужой, заглянуть в зеркальные окна, увидеть мир зазеркальный: за столиками темного дерева чинно сидят леди энд джентльмены в темных костюмах, перед ними высокие бокалы — и все напоказ; человек с улицы, плясь на недоступное ему роскошество, может ощутить себя бедным мальчиком из святочного рассказа. В подъезде отеля статный малый в смокинге и цилиндре. Хочется спросить у него: «Каково тебе, детинушка, в эдакой униформе, не жмет ли, не докучает ли манишка?» Но попробуй сунься в подъезд со своим-то суконным рылом...

Помню, в студенческие годы... Ах, эта память, на что она нам?! Беспамятность предпочтительнее: не совать носу куда нам заказано новыми хозяевами жизни, так-то бы лучше. Но — помню, в университетские годы мы так и валили со стипендии в ресторан «Европа», да еще и на «Крышу». Мы были тогда щенками, и финансы наши голодранские, но вместе с нами тогда учились ветераны недавно закончившейся войны — победители, — и какова бы ни была тогдашняя действительность, при живом Сталине, нас обуревало чувство всеобщего равенства. Никто не был выше нас и ниже не было никого. Официанты на «Крыше» приносили нам то, что мы заказывали. Никто нас не унижал, мы никого не боялись — в этом месте, в этом городе, в этой стране, недавно победившей во второй мировой. Страна была наша: равенство всех со всеми мы понимали как демократию, разумеется, социалистическую.

Рестораны в «Европейской» тогда работали до трех часов ночи, имелась бильярдная, играли «по рублику». Один из нас почему-то понимал себя как изрядного бильярдиста, обещал насшибать рубликов на всю гопкомпанию для дальнейшего увеселения. Ему давали кий, но он почему-то проигрывал, и это было в порядке вещей.

Бывало, мы хаживали
в пивные, чайные и кафе,
и нас там, право, уваживали...
Да что говорить о былой лафе.

Мы были в то время сытые
и вполпьяна, налегке.
О времена, почти позабытые,
и наши носы в табаке.

Году, кажется, в восемьдесят пятом в гости приехал мой друг с Алтая, председатель колхоза «Восход» Антон Григорьевич Афанасьев. Я снял ему номер в «Европейской» гостинице. После театра — мы смотрели у Товстоногова пьесу Шукшина «Энергичные люди» — зашли в отель посидеть у него в номере,

покалякать. Дежурная на этаже нас остановила: «Поздно. Гостей не пускаем. У нас живут иностранцы». Я возразил: «У вас живут иностранцы, а вот это русский, председатель колхоза. Он выращивает хлеб, который мы едим». Дежурная искренне удивилась: «Первый раз в жизни вижу председателя колхоза». И пропустила.

Кто нынче дает нам хлеб наш насущный? Хлебопашцы, где вы, отзовитесь! Молчат, как в рот воды набрали. Да и сказать не дадут, место не предусмотрено, у микрофонов политологи, в отелях бизнесмены. С хлебушком подождет, спохватимся, вспомним, что на первом месте в благосостоянии каждой страны, каждого народа — культура земледелия, хлебопашество. А наши телепроходимцы с утра до вечера агитируют нас хрумкать заморские шоколадки «Марс».

Живем мы прежде всего в силу того, что хлеб жуем. Кажется, истина неконвертируемая. Хотя в последние годы мы усомнились почти во всем, усвоенном до того, даже в аксиоме о первичности материи перед духом. Но что-то же остается первоосновное, как воздух, вода, хлебушко, единственное твое истинное, как материнское благословение: «Живи, сынок...» Как жить? Ради чего? Выиграть в лотерею «Сюрприз» на Невском посуленный миллион? Моя бабушка говаривала: «На посуле как на стуле...» Человеку нужна руководящая идея — царь в голове, будь он отвлеченно мыслящая личность или природный пахарь, иначе унесет поветрием не в ту степь.

Русский человек руководствуется идеей своей родины. Но это слишком общо и захватанно. Между тем, чем дольше живешь на свете, расставаясь с близкими и иллюзиями, все крепче привязываешься к материку родины. Что есть необманное у русского человека, пережившего все инфляции и девальвации, что грядет ему до последнего издыхания, наставить на путь, это Россия. Кем-то из умных замечено, что Россия — понятие не географическое, а нравственное. От себя добавим: и подсознательно генетическое, хромосомное.

На Невском у Гостиного двора торгуют русскими изданиями. Сказать, что здесь русский дух, здесь Русью пахнет, лучше поостеречься. Рядом с «Правдой», «Русским вестником» новгородским «Вечем», «Народной правдой», «Днем», «Советской» и «Литературной Россией» торгуют голой беспардонной порнухой. Кому-то надо перебить, осквернить. Само слово «русский» всеми средствами вышибается из массового сознания, как изгоняются с рынка сбивающий цену товар и торговец. Вместо «русского» внедряется «россиянин», то есть никакой, ничей, с одним штампом о прописке.

Русские издания тоже разные, как все на свете, несогласные одно с другим. Моментом истины в абсолюте не владеет никто, но в русских изданиях, пусть урезанных, маломерных, вопиющих о своей бедности, несопоставимых по лужности глотки с депрессой, все-таки можно отдышаться, в них есть первоэлементы самостояния русского человека, в них пишут по-русски, они дают возможность отряхнуться от глумления, навета, услышать душу своего соотечественника.

Почитайте проповеди смиренного Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, поверьте ему, как сам он верует в тысячелетнюю православную Русь, — и укрепитесь в отеческом, материнском, божеском призвании пребыть сыном Отечества, самим собою русским, чтобы державе было на кого опереться в смутное время. Владыка Иоанн обладает даром врачевания словом, преисполнен милосердия, нестяжания, братолюбия; разящ его гнев ко совратителям России с назначенного ей Всевышним и историей пути, горестно остережение соблазненным. Так воспринимаю статьи-проповеди святого отца я, по-видимому, необратимый безбожник. Честное слово, такого праведно-вдохновенного, беззаветно-мужественного в откровениях автора не знала вся советская пресса, тем более нынешняя рыночная.

Почитайте Юрия Власова, некогда самого сильного человека на планете,

удивительным образом претворившего железо мускулов в утонченность интеллекта, талант писателя (одна из его прозаических вещей называется «Справедливость силы»); в проникновенных статьях-экскурсиях по нынешней зачумленной Москве вы услышите голос несчастного, обманутого, все почему-то безмолвствующего народа. Юрий Власов в недавнем прошлом несгибаемый боец против тоталитарного режима, радикальный демократ; его нынешний патриотизм незаемный, выстраданный; со свойственной ему силой полногласия писатель взывает к соотечественникам: опамятуйтесь! соединитесь! прикиньте к материку родины-матери, иначе в пыль обратитесь!

Русские издания — я не говорю «патриотические»: в атрибуте «патриот» содержится заведомая похвальба, в переиспользовании одного атрибута не обходится без спекуляции, самозванства — предоставляют трибуну национальному самосознанию, ну да, конечно, русскому; без этого мы захлебнемся в струях, бьющих из фановых труб плюрализма. Без национальной скрепы развалится государственность любого народа. А мы только и делаем, что подставляем то одну щеку, то другую, и вот нас хлбыщут: великодержавный шовинизм! и т. д. и т. п.

Однажды я бродил без какой-либо цели, с жалкой парой тысяч йен в кармане по кварталу развлечений Синдзюку в японской столице Токио. Вижу у входа в некое заведение стоят три не очень одетых японки, такие прелестные, как на рекламной картинке, притом живые, телесно-теплые. Я сделал к ним шаг просто так поглазеть, как праздный гуляка. Тотчас мне преградил дорогу не улыбающийся твердый японец, вразумил: «Оунли джапаниз», то есть только для японцев. Он указал, куда идти мне, неяпонцу, ловить мой кайф. Во внешне американизированной Японии строго соблюдается предел проникновения чужестранного в домашнее. Одно с другим не смешивается, как постное масло с водой. У японцев обострено чувство национального самосохранения. А у нас?

Надо как-то нам совладать с нашей русской отзывчивостью ко всему на свете опричь самих себя, того гляди, растворимся в чужом без остатка, места не станет осесть.

Бывает, плачемся: время худое, хоть ложись да помирай. Некий бодрый радиоголос нас вразумляет: «Время у каждого живущего одно, другого не будет. Лови за хвост свой единственный шанс». Но в одиночку мы не умеем, нам подавай соборность. Или еще подзаборность. Как в песенке Глеба Горбовского:

У помещенья «Пиво-Воды»
 Лежал довольный человек.
 Он вышел родом из народа,
 Но вышел и упал на снег.

Нас хлебом не корми, только дай найти козла отпущения: ах, вот этот такой-сякой немазанный, завел всех нас, как козел стадо баранов на мясобойку. Как аукнется, так и откликнется: «Раз вы такие бараны, туда вам и дорога».

Нам надо прийти в себя, сосредоточиться в себе, услышать друг друга; страна-то ведь наша...

На Невском у Гостиного торгует русофильской прессой мужичок с ноготок, сиворыжебородый, с заиндевевшими глазами-ламбушками. До того он похож на писателя Василия Ивановича Белова, словно глянула на меня из окошка сосновой крепости вологодская, архангельская, новгородская Русь, в канун чего-то благодетельного, может быть, и ужасного, чего Руси не миновать. Как помню себя, насколько знаю нашу историю, мы всегда обретались в канунах каких-то фатальных свершений; до осуществлений не дотягивали или оказывались обманутыми. И вот мы опять накануне...

Идучи по Невскому, с обязательной житейской заботой на уме, сколько бы ни уклонялся, ни озирался по сторонам, ни пускался в умозрения, раньше или позже придешь — нужда выведет тебя — к точке общепита, одной или другой, их всего-то две в твоём ареале. И там пусто, шаром покати. Заходят, прочитывают цены, иногда возьмут манную кашу. Однако голод не тетка. Подавляю в себе расчетливого экономиста, наобум беру куру с рисом и чай. Рисовая каша мокрая, липкая, на куриных мослах ни мясинки. Однако я ем куру с рисом. Рядом со мною мужик много моложе меня, в полной силе, нацеливает из самовара кипяток, достает обглоданную краюху хлеба, макает во что-то, принесенное в газете. Сахар, соль? Мужик смотрит на меня, у него в глазах нет ничего, кроме застарелого голода. Видит ли он меня или только мою куру? Он такой же русский, как я, мой современник, мы зашли в харчевню на Невском проспекте перекусить. Но я знаю, что при иной раскладке он перекусит мне горло. Ау, брат мой, соотечественник, где ты, как тебя туда занесло? Как возвратиться оттуда? Если я протяну тебе руку, рука огрузнет неподъемной для меня тягостью. Никто никому не поможет...

Сверху как будто спущена директива (серия президентских указов): не приживающихся к новому порядку, к рыночным реформам, переходу к капитализму и т. д. пустить в расход. Без суда и расстрела, сами сыграют в ящик, ну, разумеется, слабые и худые: неприспособленные, приверженные старому, неперестроившиеся, в общем, охвостье. Для улучшения генофонда. Как при сталинских чистках; и тогда отбирали достойных для проживания в новой эре, от недостойных освобождались. Неважно, какие были в ходу ярлыки. Все повторяется, господа.

Нас сживают со света (есть варианты самоспасения: бизнес, легитимизм, то есть, верноподанность власти имущим), а мы... Мы родом из той жизни, в которой всякое было, например, война и победа. Вот здесь, на Невском проспекте, летом сорок пятого года, когда зацвела сирень, я видел встречу вернувшихся с фронта с победой наших солдат и их командиров. Ах, какие лица! Какие промытые слезами глаза у моих горожан! Я был мальчишкой, но пережил этот момент соединения всех до одного в то время живущих в порыве любви, какого-то божественного торжества победившей жизни, как личное счастье. В такие мгновения постигаешь главные истины на всю жизнь. Истина может быть единственной. Как и встреча победителей.

В начале года нынешнего на вечере, посвященном годовщине снятия блокады Ленинграда, старая женщина-блокадница (как в блокаду — кожа да кости, одни глаза на лице) обратилась к залу с вопросом. Или с душевным стоном: «Если бы мы в блокаду были бы в одиночку, каждый сам по себе, не помогали бы друг другу, мы бы погибли, никто бы не выжил. Мы остались живые и город не сдали немцу, потому что были все вместе. Сегодня жизнь опять почти как в блокаду. А Ельцин нам говорит, чтобы каждый выкарабкался в одиночку. Как же нам быть?»

Как нам быть?

3

18 июня. По совершенно пустой за торговой площадью, широченной главной улице Новой Ладogi ехал на велосипеде старый мужик с привязанной к раме железной трубой. Такой же мужик кричал с панели, из-под липок, ясеней, вязов, берез, густо-густо здесь насаженных, перевитых акацией, сиренью, жасмином: «Не превышай скорости! Не нарушай правила уличного движения!» Старые мужики в Новой Ладогe балагуры; главная профессия здесь — рыбак; хотя спускали план на колхоз, бригаду, звено, однако рыбацество — вольное художество; без балагурства никак, особенно за ухой. Молодые сидят на месте бывшего рынка с бананами, ящиками водки, гадкими книжонками или

в будках, как шелудивые псы; вид у коробейников зачумленный, потусторонний; эти не посадят ни липки, ни вяза. Надо бы у них спросить: зачем вы живете, ребята? в чем ваша жизнь? Но спрашивать неохота: нет уверенности, что они знают русские слова. Эти ребята из ящика, следствие гайдаризации всей страны.

И какая-то во всем оцепенелость: замахнулись, содрали с доски почета портреты лучших людей, а саму доску не тронули, так и стоит. Где вы, лучшие люди, ау?! У входа в правление рыболовецкого колхоза имени Калинина доска ветеранов войны и труда, пустая, ободранная. Ну ладно, нет лучших людей, ветераны-то небось еще живы. Доска показателей на пятилетку. Показателей мало. А досок не снимают, рука не поднимается, чего-то ждут.

Идешь по тихой улочке Новой Ладоги, и вся окрестная жизнь нараспашку, все слышно. За оградой у вросшего в землю домика женщина со строгими, страдающими, большими глазами выговаривала девочке: «Ну как же ты могла их потерять? Как ты их выронила? Я же их дала тебе в руки». Девочка горестно хныкала: «Я их выронила из рук не знаю как».

На шаре над воротцами сидела галка с круглым глазом в жемчужном ободке. Галка сидела с таким видом, как будто ей именно здесь надлежит сидеть, навсегда посажена, как и шар.

Средневековая Климентовская церковь в Новой Ладоге, худо, то есть никак не сохраненная, чуть подновленная, достойна отдельного долгого обзирания-обдумывания... Я вошел в открытые ворота на церковное подворье, примыкающее к кладбищу. Две женщины молились на церковь, вкрадчиво мне объяснили: «В ворота входить нельзя, в них вносят покойников в церковь на отпевание. Входить надо в калитку». Я поблагодарил богомолка за наущение, вышел в раскрытые ворота, вошел в калитку. Кладбище в Новой Ладоге на высоченном берегу Волхова вплоть до канала, а с другой стороны город, расширяться некуда. На кладбище множество подолгу живших русских людей.

В самом начале главной улицы Новой Ладоги (конец у церкви), проложенной вдоль Волхова, чуть поодаль от берега — проспекта Карла Маркса — несколько баб сажают в клумбы — бетонные вазы — цветы. Исполать вам, бабоньки! Здесь же в начале проспекта тепло-приятно пахнет свежеспеченным хлебушком: тут хлебозавод, с пылу-жару продают хлеба, булки, ромовые бабы, пончики; стоит очередь — к теплomu хлебушку и постоять уютно.

Далее почта, суровая барышня скажет тебе: «Монет не размениваем». — «А заказать Питер можно?» Барышня: «Слишком дорого». — «А сколько?» — «Сто двадцать пять рублей три минуты». Сообразишь, что можно и не звонить, не ахти в какую даль и уехал.

Живу в гостинице районной, каналом старым окаймленной. Невдалеке кричит петух. День до рассвета не потух. Цветут раскидистые липы. На небе чайные всхлипы. Темна канальная вода. Неизрекаема беда. Может быть другая концовка: «А где насущная еда?» По словарю Брокгауза в 1896 году в Новой Ладоге было 12 питейных, 86 торговых заведений, при населении 5087 человек. Ежегодная Успенская ярмарка — на Успенье — собирала чуть не всю торговую Россию. Нынче в Новой Ладоге единственная точка, где можно заморить червя, заложить за воротник, в помещении бывшего ресторана «Волхов», теперь безо всякой вывески: и так все знают.

Справедливости ради: напротив оной точки общепита есть вывеска — «ресторан» по-иностранному. «Бриг» по-русски. Из окна гостиницы мне видно: у входа в ресторан «Бриг» весь вечер простоял «вольво» его хозяина, ни один посетитель в «Бриг» не вошел. Ну ладно, полно злорадствовать, еще не вечер, господа.

Гостиница «Радуга», в коей я проживаю, куплена неким господином из

«новых русских»; в гостинице удобства общие, стены такие, что слышен мышинный писк в соседнем номере; шаги дежурной на первом этаже как шаги командора. По счастью, мышей нет, я единственный постоялец в отеле. В последний раз, года четыре назад, я платил за номер 1 р. 30 к., нынче тысячу. Посчитайте, во сколько раз... ну, и так далее, это скучно. И... снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь... Только не бродит одинокая гармонь в нашей притихшей провинции.

В последний раз я был в Новой Ладоге как государственная фигура: баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР. А? Не фунт изюму?! Как кандидат я тогда выступал перед избирателями в библиотеке, в обстановке наиболее мне благоприятной, в окружении знакомых книг. На встречу пришли книгочеи, и разговор получился больше литературный. Теперь мало кто помнит от тех давних выборов в некогда бывшем государстве. В нашем округе победа досталась темной личности. Вскоре после выборов все убедились, увидели на экранах телевизоров: темная личность. А среди кандидатов (нас было 12 душ) предлагали себя приличные, обладающие разумом, волей люди. За меня отдали голоса 4 процента избирателей в нашем округе. После мне докладывал Иван Текляшев: «Мы-то с Марьей за тебя голосовали, я и другим говорил: «Этот хоть ошивается в наших местах, везде ходит, знает, что и как».

В тот мой приезд в Новую Ладогу в ранге кандидата в народные депутаты заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени Калинина Суханов выписал всей нашей команде: мне, моему доверенному лицу Кутузову, возившему нас на своем «Жигуле» Ларину — по толике рыбы по госцене. То есть, он выписал на имя рыбаков, которым причитается от улова, а мы получили по судаку. Казалось, чего бы проще: пришли в колхозный магазин и купили, но колхозу торговать рыбой возбранялось, даже в колхозной столовой уху не варивали. И в Питере ладожские сиг с судаком невесть кому доставались, и окунь с плотицей не доходили до нашего брата. С ладожской рыбой всегда была какая-то иррациональность: колхоз ежегодно сдавал государству 5000 тонн рыбы, а мы ее и в глаза не видали. (Для примера: в Токио на рыбный рынок-аукцион каждое утро доставляется 3000 тонн рыбы; к вечеру все съедается). Теперь и подавно концы в воду, да и цены на рыбу стали тысячные.

Алексей Николаевич Суханов председательствовал в новолadoжском рыболовецком колхозе с 1960 по 1986 год; перестройка пошатнула вполне еще крепкого председателя... Некоторое время он помаялся в должности заместителя... Подробно о Суханове чуть дальше.

Иду в Новой Ладоге по проспекту Карла Маркса... Раньше ходил и хоть бы что, а сегодня идти по карлу-марлу все же как-то погано. Свернул за угол: ул. Урицкого — тьфу, пропасть! Далее Володарского, Советская. А это что такое? табличка на набережной старого канала: «Пролетарский к-д». Канал-то Петровский, сам Петр Великий первую землицу из ложа канала вынул, на тачке вывез — документально зафиксировано, дело было 22 мая 1719 года. А руководил прорытием канала, сооружением шлюзов не кто иной, как Ибрагим Петрович Ганнибал, прадед Пушкина. И это надо же было додуматься обозвать петровский канал пролетарским. Как боялись нашего прошлого те, кто отвечал за идеологию, и сколько дурости, обалдуйства, старания расширяться в лепешку перед теми, кто еще выше в номенклатуре. Партократы подгоняли под себя русскую историю. Тем же озабочены и демократы. Ни в одну идеологическую систему не укладывается Петр Первый; левые радикалы клеймят преобразователя России: он предтеча большевизма; почвенники-русофилы им вторят: он занес на русскую почву западную скверну. Крайности сходятся.

В средние века на месте Новой Ладоги, при впадении Волхова в Ладожское озеро, был Никольско-Медведовский монастырь. Петр Первый в 1704 го-

ду заложил Новую Ладугу как центр округа, то есть повелел заложить: побывал в устье Волхова, постоял на берегу пустынных волн, и далее все как у Пушкина, только город поменьше, чем Санкт-Петербург, и совсем без немцев, без двенадцати языков, ну до того русский (в низовьях Волхова сохранились следы обитания славян VII—IX веков), даже без вепсов.

В середине XVIII века Суздальским полком, расквартированным в Новой Ладоге, командовал Александр Васильевич Суворов; построенная им полковая церковь сгорела в 1988 году, сам видел; в ней помещалось лако-красочное производство.

Ну как тут не схватиться за волосы, которых уже и нет, как не завопить благим матом: кто мы такие? откуда мы? куда зашли? куда нас завели урицкие с володарскими, а нынче эти — как их?

Однако еще «немного истории». Проспект Карла Маркса назывался Николаевской улицей; Карл Маркс — маленький, совершенно черный бюстик — стоит на постаменте под молодым, но широкоплечим, осанистым кедром. Сначала карлу-марлу привинтили на постамент, сооруженный под памятник Александру II — царю. В брошюре о Новой Ладоге сказано, что памятник царю-освободителю возвели на народные деньги. Чем угодил новолодожским рыбакам и купцам именно этот царь, не знаю, но памятник был величав, благолепен; стой он сегодня на своем месте, в Новой Ладоге, было бы чему поклониться как символу истории нашего Отечества и произведению искусства. В 18-м году явились братишки-матросы из Питера, царя Александра II утопили в Волхове, благо близко, на его место привинтили карлу-марлу... Затем почему-то маленький черный бюст с бородой перенесли в другое место; на царский пьедестал воздвружили Кирова с поднятой дланью. За годы стояния не на своем месте у Мироныча выкрошился один алебастровый палец, так и стоит беспалый. (Почему-то приходит на ум, что президент у нас тоже беспалый). Так ему и стоять, а срок стояния не исчислен.

Из новшеств последнего времени: рядом с вывеской «Совет народных депутатов» такой же величины вывеска: «Мэрия». Совершенно дикое, несовместное с Новой Ладогой и любым другим русским городом словечко, ровно как и мэр.

В Гостином дворе добротной купеческой постройки, простирающемся чуть не на четверть главной улицы, продаются предметы неходовые, остаточные. В былые времена новолодожский универмаг был забит всевозможным импортом; нынешние коммерсанты сюда носу не кажут, здесь им делать нечего: денежные мешки в столицах, в провинции голь перекатная. Опять-таки для примера: в развитых странах, взятых нами за образец строительства капитализма, ну, скажем, в Англии, в любом городке можно купить все нужное, как в Лондоне; существуют службы спроса, предложения; цены образуются по закону рынка. Ежели в какую-нибудь английскую глубинку чего-нибудь не завезут, граждане Великобритании подымут такой шум, что на Даунинг-стрит станет тошно. Бизнес бизнесом, при всем его зверином оскале, а продукты питания вынь да положь на стол потребителя, и при достаточном рационе, иначе все станет. Однажды я наблюдал лондонского бомжа, он ночевал на садовой скамейке на Блумсберри-сквер: велосипед приставит к скамейке и ночует, утром на спиртовой горелке вскипятит в большом котле изрядную дозу сосисок, умнет и крутит педали — до вечера.

А у нас... на одно солнце глядим, да неравно едим. Наши демократические дамочки типа Салье все уши нам прожужжали: «Раньше подкармливали Москву, Ленинград, а вся страна голодала. Наконец-то на прилавках полное изобилие. Не на что купить? Это — неизбежные трудности перехода от тоталитарной системы к демократической».

Мне вспоминается режиссер Тартуского эстонского театра Каарел Ирд — мыслитель, светлая голова. На гастролях в Ленинграде он выходил перед

началом спектакля к рампе, объяснялся с залом примерно в таком духе: «Вы увидите пьесу из тех времен, когда Эстония была буржуазной. Их проблемы могут быть непонятны для вас. Нынче мы жалуемся: в магазинах нет того, нет этого. В тридцатые годы в буржуазной Эстонии было все, но у одних были деньги, а у других не было, и это приводило к человеческой драме. У каждого времени свои проблемы, но люди всегда хотят быть счастливыми. Мы, наш театр, помогаем людям разобраться в себе, понять, кто мы такие, обратиться душой к общечеловеческим вечным истинам...»

Некогда богатый рынок в Новой Ладуге — ну да, колхозный, какой же еще? — нынче не существует; несколько тетенок торгуют пионами, укропом, сигаретами «Луч». «Что с нами будет?» — этот вопрос в выражениях лиц местных провинциалов, равно и приезжих. На лицах можно прочесть и ответ: лица выражают привычную ко всему покорность с чуть заметной гримасой недоумения: за что?

И вот я иду из столовой рыбоколхоза по мосту через новый канал, мимо кладбища и церкви, в гору... Меня догоняет местный мужик с как будто выкопченной — до черноты загорелой шеей, таким же клином груди в расстегнутом вороте рубахи. Очевидно, рыбак: ладожский солнечный ветер выдубил петропигмент его кожу. У мужика длинные, взлохмаченные, как береза на ветру, волосы, добрейшее, как у большого пса, лицо, с постоянной разумной ясностью в светло-серых глазах. Мужик слегка навеселе, то есть опохмелившийся, поскольку первая половина дня, загуливать всерьез рановато. Он меня догоняет, дает мне руку, представляется: «Слава». И далее следует монолог — явление уникально-русское, в провинции сохранившее чистоту жанра, откровенность душеизлияния, Славе нужно было выговориться, своим он уже все сказал, все его слышали, а я по виду приезжий.

После краткого представления друг другу Слава мне доложил, что ходит на лов мотористом, что ему 57 лет, уже на пенсии, но его попросили, и он пошел в колхоз; всю жизнь рыбачил на Балтике... Слава поднял кулак, показал мне: «Вот, сорок два года и все вручную». Я также узнал от моего новолодожского знакомца, что рыбу сдают в колхоз только самую ничтожную, окушков с плотницами, а так всю пускают налево, слева очередь за рыбой... И многое другое.

Сразу оговорюсь: «Слава» у меня лицо собирательное, написанное в итоге встреч с несколькими новолодожскими рыбаками, однако реплики, положения и прочее подлинны.

— Раньше бабушка вынесет окушка продать, — делился со мною Слава тем, что у него наболело, — к ней сразу милиция: разбазариваешь народное достояние... А теперь разрешили. В бригадах рыбаки так рассуждают: колхоз нам горючку не дает, краску не дает лодки красить, и мы ему рыбу не дадим. А заработок: вот возьмите на рыбоприемном судне, капитан получает тринадцать тысяч, матрос — пять тысяч рублей. На такие деньги можно прожить, да еще с семьей?

Мне 57 лет, — напомнил Слава, — мне скоро помирать. Я в партию не вступал, а когда на мэрээске плавал, был секретарем комсомольской организации. А в партию не вступал. У меня отец сорок четыре года в партии, три войны прошел, он мне говорил: «Партии не верь, она обманет». Я необразованный, а вот вы скажите, как же так, там наверху все из партийных верхов и все перекрасились? И этот осинноголовый...

Новое для меня слово осинноголовый, то есть голова — осиновая чурка... — Вы скажите, как же так, — обращался ко мне с вопросом, но не дожидаясь ответа Слава, — посмотришь их по телевизору, все образованные, у всех ученые степени, а один одно говорит, другой ему поперек. Как же так? Я необразованный. Я с вахты приду, мне сын говорит, он у меня в парашютно-десантных войсках в Таджикистане служил: «Папа, опять ты выпивал. Ты скажи,

куда мы идем? что с нами будет?» Я говорю: «Меня угостили после работы». Ответить мне ему нечего. Мне 57 лет, я скоро умру.

Мне тоже нечего было ответить Славе, я перевел разговор на другое, местное:

— Скажите, Слава... как вас по бабушке?

— Вячеслав Александрович.

— Вячеслав Александрович, что вы можете сказать о вашем председателе Суханове? Почему вы его опять выбрали? Он же двадцатого года рождения...

— Он на Ельцина похож, — все так же спокойно, ясно, разумно глядя, сказал Слава. — Тот наобещает и в кусты и этот... Не хотите по сто грамм принять?

По-видимому, в этом состоял главный пункт Славиной прогулки по липовому, кленовому, березовому, пахнущему цветущей персидской сиренью, древней водой каналов Волхова, Ладоги его родному городку.

— Это можно, — легко согласился я.

Мы поднялись в ту самую точку без вывески. Буфетчица Аннушка налила нам, с улыбкой озабочилась, чем бы лучше закусить. За столом продолжалась беседа, то есть Слава длил свой монолог. Все проходящие знали Славу, подсаживались, вставляли свои суждения. Слава показывал кулак, вполне достойный уважительного к нему отношения, как будто сам удивлялся:

— Сорок два года вкалывал и все вручную! Когда из армии пришел, во мне было 120 килограммов. Не пил, не курил. Мне в армии как некурящему семьсот граммов сахару давали. В детстве в детдоме в Вышнем Волочке доходяга был, а из армии пришел — 120 килограммов во мне было.

— Как можно поделить Черноморский флот? — вскрикивал подсевший к столу Славин товарищ, тоже рыбак. — Это же не по кораблям, не по железу, по душам людей резать. Кто из русских пойдет служить Кравчуку — этому партократу?

— Это же потеха, — встревал другой Славин товарищ, — как они тогда Белый дом защищали, Ельцин с Ростроповичем и с Галиной...

— Надо было им, гэкачепистам, взяться порешительнее и рубануть, — предлагал свою версию исторического развития третий товарищ. — Их Горбач предал, меченый, они на него понадеялись...

Наш неспровоцированный застольный митинг был скоротечен: Славе предстояло идти в озеро на лов. Мы расстались, очень довольные нашей короткой душевной смычкой. Тем более что наш митинг с его оппозиционным радикализмом никому из участников не грозил оргвыводами: что ни говори, а у нас свободное демократическое государство.

Теперь о Суханове.

Приведу несколько выдержек из моей книги 1989 года «Глядя в глаза Ладоги», в ней есть глава, так и названная: «Суханов».

«Из плеяды ладожских корифеев поныне сохранился Алексей Николаевич Суханов, председатель рыболовецкого колхоза в Новой Ладоге с 1960 года по 1986-й...

Суханов родом с Ильменя, из красивого села Коростынь, на яру над озером вознесенного. Росту он саженого, плечи у него такой ширины, что, надо думать, в кубрики — смолоду на флоте — бочком протискивался. Глаза озерного цвета, как у всех на Ладоге и Ильмене (и на Онеге). В войну командовал кораблем в Ладожской флотилии, демобилизовался, после многих ранений, инвалидом I-й группы, однако выдюжил, после войны служил на Балтике. В 1948 году вернулся в Новую Ладогу капитаном рыболовецкого флота. Тогда флот принадлежал государству, владели им МРС — моторно-рыболовецкие станции, как в сельском хозяйстве МТС.

На Ладоге было тогда шестнадцать мелких рыболовецких колхозов:

«Лявская форель», «Красный пограничник», имени Буденного, «На страже», «Эльшевик», «Лисья», «Красный рыбак», «Назия», «Возрождение», «Верный путь», «Чайка», «Дружба», еще какие-то... Суханов все помнит, говорит громким голосом, как с трибуны без бумажки. Я с его слов записывал, не писал за оратором-рассказчиком, Суханов колхозы объединял в два этапа: сначала по кустовому принципу, по соседству... «С мужиками посоветовались» — и укрупняли. Укрупнение сверху шло, как всюду, но для Суханова важно, что «с мужиками посоветовались». Укрупнили — и вскоре всех под эгиду «одного хозяина на Ладогe» (идея Суханова) — Новоладожского колхоза имени Калинина. «Я их в себя впитал», — Суханов ставит это себе в заслугу.

Был ладожский капитан ярим сторонником передачи флота колхозу. То есть не передачи: суда покупали; в должниках у государства председатель колхоза имени Калинина не хаживал. Свой судоремонтный завод построил на нем же выпускают малые рыболовные суда для наших внутренних водоемов.

О Суханове можно много чего услышать, но главное, в чем все сходятся: Суханов есть Суханов. То есть сам по себе, ни под чью дудку не плясывал. За все время председательства ни в какой компании, ни при какой погоде ни рюмки не выпил. А смолоду, говорят, поддавал, да еще как. Сам себя осилил.

Суханов рыбу в Ладогe ловил, колхоз план выполнял, но добрую половину душевных сил и колхозных средств председатель вкладывал в воспроизводство рыбного стада, в освоение «голубой целины» в Приладогье, у нас на Велсовской возвышенности, в «обрыблении» водоемов. И плотина на реке Кáлое, вытекающей из Гагарьего озера, на которой каждую весну вычерпывают идущую на нерест плотву, и тонны «хролки», высыпанной Иваном Тeкляшевым в наше Озеро, чтоб потравить «сорную рыбу» и запустить сига, — дело рук Суханова. И форелевые хозяйства в Киришах, Лукино, Хараченичах, Усть-Капше... К великому сожалению, ото всего этого остались руины, пустые ямы, ржавые трубы, гнилые мостки. Несправедливо было бы обвинить Суханова в ошибочной идее. Идея рыбоводства на чистых озерах прекрасно работает у наших северных соседей. А мы по-дикарски: «хролку» сыпали в воду лопатой, корм давали форели без рациона, когда привезут, чуть подрастет рыбешка, воровали ее из садков. Все нам терпения не хватало и еще чего-то: чужую — совхозную — картошку можно бросить в чужую — совхозную — бороздку и вырастет, а рыба, если с ней, как с чужой, обязательно всплывет кверху брюхом. Голубая наша целина так и прозябает неосвоенная. Нынче рыболовецкому колхозу не до нее.

Еще одна цитата из книги «Глядя в глаза Ладогe»:

«В конце лета 1988 года мы с Сухановым поехали в верховья ладожских рек, остановились в том месте, где Капша впадает в Пашу. На мосту постояли. Суханов сказал:

— Надо наши самые чистые, самые красивые реки: Пашу, Оять, Капшу — сделать заповедными, запретить всякую рубку леса, всякое сельское хозяйство по их берегам. Топляки выловить. Рыбу беречь как зеницу ока. Заняться рыбоводством... на уровне мировых стандартов, а не так, как мы, по-кустарному... Ведь по этим рекам ладожский лосось поднимается на нерест — царская рыба. Если загубим наше богатство, красоту, — что детям, внукам оставим?

Суханов говорил необычным для него тихим голосом, печальным тоном, будто пожаловался, что на это святое дело его уж не хватит... Такая царила вокруг непробудная тишина, что каждый звук отдавался эхом.

А поехали мы по весьма прискорбному делу... То есть я поехал все с той же мыслью проникнуть в загадку Ладоги: что случилось с озером? как помочь? кто за что отвечает? Уж год как еду, более десяти тысяч километров набежа-

ло на спидометре моей «Нивы»... Суханов поехал со мной по колхозному делу (он был тогда заместителем председателя), в связи с повальным замором форели в рыбоводческих хозяйствах на Пашозере, в Усть-Капше — от перегрева воды: жарким летом 88-го года температура в отглучных садках поднималась до тридцати градусов, сверху брюхом всплывала рыба.

В Усть-Капше... Я видел, как плачет тамошний бригадир рыбоводов Николай Николаевич Доркичев (нынче председатель Алексеевского сельсовета). Как не заплачешь — сами пруды копали, форель растили. Нынче капшозерская форель обещала первую прибыль. И главное что? — рыбоводы все местные, из Усть-Капши, Озровичей, Корбеничей, Нюрговичей; успех рыбоводства давал им надежду на завтрашний день, на рабочие места; больше надеяться не на что. И — такая беда!

Приехали мы с Сухановым в Усть-Капшу, рыбоводы сошлись в кружок с опущенными головами — и сказать нечего. Алексей Николаевич Суханов вместе со всеми попереживал, попенял, впрочем, как бы и без укора:

— Надо было холодильник завести, соль иметь в запасе. До Тихвина довели бы и продали за милую душу. Знаете, что новгородец в старые времена брал с собой в первую голову, когда отправлялся в Ильмень рыбачить? Кадушку со льдом и мешок соли...

Ободрил как в воду опущенных капшозерских мужиков:

— На ошибках учатся».

В 1988 году в Новую Ладугу приезжал адмирал Чероков, в войну командовавший Ладожской флотилией. О Суханове Чероков сказал так:

— Он командовал в нашей флотилии кораблем, небольшим — больших на Ладоге не было, — но не самым маленьким, пригодным для высадки десанта... Суханов был в бою безупречно храбрым. Помню, высаживали десант, в сорок третьем году... У Суханова на корабле отказал двигатель, ветром его понесло под вражеские пулеметы. Суханов стоял в рубке абсолютно спокойный, только спрашивал у моториста: «Как, скоро?» Спокойствие командира передалось команде, двигатель починили, задание выполнили.

Когда Суханова сместили с председательского поста, у него появилось время и он приналег на огородные культуры, особо на помидоры. У него дом, огород — все большое, как сам хозяин. Бывало, приеду к нему, он обязательно поведет на плантацию, в теплицы; на рослых стеблях красуются томаты, и круглые, и яйцевидные, желтые и алые. Особенно хвастался хозяин помидором «бычье сердце», при этом вздымал указующий перст, произносил монолог: «Вот видишь? Все выращено на нашей земле, на супеси и суглинке. Наша земля все может родить, если к ней приложить руки и разумение. Вот эти руки. Уловил?» Мне представлялось, что первый рыбак на Ладоге может обрести второе дыхание как образцово-показательный огородник. Накормит Новую Ладугу томатами.

Осенью 1991 года рано утром у меня дома раздался звонок, женский знакомый голос донесся издалека: «С вами будет говорить председатель колхоза Калинина Алексей Николаевич Суханов». Я не успел изумиться, в трубке загремело: «Я принял колхоз. Народ меня выбрал. Приезжай. Напишешь о рыбаках. Проблем много». В голосе Суханова преобладала надо всем торжествующая нота.

Суханов меня пригласил, однако я не поехал: писать-то некуда, не во что, и если раньше проблемы решались через печатное слово, для того и писали, то нынче хоть волком вой, никто не услышит. Но приглашение оставалось в силе, в сознании то и дело зажигалось: «Суханов». Как-то проснулся, и будто кто мне шепнул: «Пора, а то будет поздно». Вскочил как встрепанный, помчался на автобусный вокзал, взял билет на ближайший — тихвинский — автобус, до Юшкова...

В тот день Суханов уехал в Питер, по вызову в прокуратуру, в связи с замо-

рыбы... А дело такое (излагаю его по версии Суханова): пошла на негуст ладожская корюшка, шла себе и шла, ловилась в колхозные мережи, торговцы охотно брали крупную, мелкую не очень. 29-30 апреля температура воздуха поднялась до 25-26 градусов, соответственно прогрелся верхний слой воды. Мелкая корюшка как оголтелая всей громадой поперла в места нерестилищ. В бригадах колхоза загодя были поставлены большие мережи, и так они забились, огрузили, хоть кричи караул. Не вытащишь рыбу живую, протухнет воде, и нерестилища погибнут. Вытащили. А дальше? Рыбокомбинат не взял: подорожала жестянка для банок, консервировать невыгодно. Рыбохранилища забиты океанической рыбой. Суханов давал телеграммы: и Собчаку, в Новгород, и в Тихвин: берите корюшку, почти задарма. Только военные откликнулись — спасибо! — а так все отказались: дорого вывозить. «Семьсот тонн корюшки закопали в землю — на удобрение, — сказал мне Суханов, — если так дальше пойдет, такое соотношение цен, будет голод».

На другой день Суханов уехал в Усть-Нарву, где у колхоза база и флот. То и другое прибрали к рукам эстонцы.

На третий день пребывания в Новой Ладогe я пришел домой к Суханову, он сидел на кухне за обеденным столом, такой, как всегда, грохнул ребром ладони по столу: «Ты на какой позиции?» — «Будьте благонадежны, Алексей Николаевич, на правильной». Мы пообсуждали наши позиции (кем-то замечено: где двое русских, там четыре партии), сошлись на том, что оба — на русской позиции. Суханов заверил, что колхоз пойдет социалистическим путем (хотя акционирован), что спекуляции народным добром он не допустит. Разливая щи по тарелкам, хозяйка вставила: «Вы проговорите, а колхоз растащат».

Хозяин по обыкновению посвящал меня в важные для него моменты собственной судьбы, всегда совпадающие с моментами общественной ситуации:

— Излагаю тебе мою биографию с того места, на котором — помнишь? — остановились. Должность заместителя председателя колхоза, которую я занимал, упразднили, выходить на работу не надо. Директор рыбокомбината позвонил: «Есть для тебя место, выходи». Я вышел... Помнишь, я тебе показывал пруды у нас вырыты под карпа? Я звоню в Киев Анатолию Сидоровичу Стеценко, по старой памяти, номер его сохранился, у него в свое время молодежь брал, там это дело отлажено. Говорю: «Помнишь, Анатолий Сидорович, это Суханов?» — «Ты еще на месте?» — он меня спрашивает. Я говорю: «На месте. Продай мне молодика карпа». Он говорит: «Пораньше бы позвонил». Я ему: «Такое дело, Анатолий Сидорович, по старой дружбе, позарез надо». — «Ну ладно, — он говорит, — присылай рыбоведа». Послали молодого человека в Киев на улицу Подлиповую, дом 13, Стеценко отгрузил карпа — и вагоны нашлись под рыбу; молодой карп в наши пруды запущен; съездим, я тебе покажу.

Так все было, как в рассказе Алексея Николаевича о карпе, или не совсем так, не знаю. Его рассказ более походил на мечтание о невозвратном времени, когда можно было съездить на Украину и обрыбиться.

— В это время, — продолжал хозяин, — председатель колхоза Панфилов подал заявление об уходе... Ну, хорошо. В колхозе общее собрание в доме культуры — выборы нового председателя. И я подал бумажку, чем черт не шутит. Сначала было семь претендентов, потом пятеро отпали, двое осталось: я и один из наших судоводителей — хороший мужик, но хозяйства не знает. Я получил на пять голосов больше. Меня выбрал народ. Уловил? Ну, ладно. Проработал почти два года, мне говорят: отчитайся на общем собрании — и опять выборы председателя. Я отчитался, меня опять народ выбрал.

— Вы выбираете, а колхоз растащат. — заметила хозяйка, подавая второе. Поняли чаю, я пошел на автобус. ясности у меня не было, что станется

дальше — с колхозом, Сухановым, ладожской рыбой, со мной и с тобой, неведомый мой читатель. Да и есть ли ты?

В том, что старого Суханова переизбрали председателем в наши окаянные дни, сказало прежде всего мечтание выбиравших об утраченном времечке, о хозяине делу и жизнеустройству. Сколько тому примеров в разных сферах и, как говорить, регионах! Люди истосковались по хозяину — не рущему до него сделанного, не запускающему руку в общий котел, а созидающему. Любимая притча у Суханова: «Хозяйство вести — не портками трясти».

Я свернул в молодую липовую аллею, посаженную вдоль старого канала в том месте, где он описывает излучину, уходит из-под раскидистых раки и тополей тенистой Новой Ладогой в открытое солнечное пространство. Присел на зеленом берегу, принялся за чтение купленной на площади в киоске «Литературной газеты». В ней можно встретить здравые мысли, знакомые лица, но у газеты есть направление — дряблкое, гадкое: унижить русского человека — и государство — в его историческом существовании, все равно по какому поводу, но непременно унижить, поскольку — русский, русское. Читаю интервью, взятое Щекочихиным у некоего Эмиля Паина, советника президента. У Эмиля есть здравые мысли, например, о том, что внутри России, какой она стала после развала СССР, второго развала не будет. Россия себя сохранит. Однако не в этом соль интервью. Из высказанного прагматического прогноза Эмиль Паин делает вывод: на основе существующих в границах нынешней России народностей (включая русских) образуется новая нация. Вот в чем соль! Щекочихин ловит Эмиля Паина на слове: помилуй, это же было при Брежневе — новое сообщество советских людей. Паин уходит в кусты; слово сказано: исторически населяющая Россию нация вроде как бы не та, что нужна; необходима новая. Русских — абсолютное большинство населения нынешней России — надлежит перекрестить в новую нацию — и наступит мертвая гладь. Вот вам и брежневизм новой модификации, для этого Эмиль Паин и в советниках у президента; в унисон шипит «Литгазета», подобно змеиному гнезду.

Тем временем, весело бодаясь, ко мне присеменили копытцами три козочки, впрочем; кажется, две — козелки, принялись ластиться, жевать мои уши, но, главным образом, вырывать у меня из рук многостраничную газету. Тут мне пришло на память: в 1976 году я некоторое время пребывал на архипелаге Зеленого Мыса, на острове Сантьяго, в главном городе государства Кабо Верде, принявшего тогда социалистическую ориентацию, Прае. И до того было сухо, безводно, бестравно в том городе, на тех островах — в году ни дождинки при африканской жаре, — а коз держали и там. То есть козы паслись на улицах города Прая без газонов, поедали афишки, обертки, местную газету «Но пинча» — «Вперед». Новоладожские козочки, очевидно, по общему козьему интересу к печатной продукции, накинулись на «Литгазету», но я им не дал: от газеты дурного направления вдрог у коз образуется несварение?

4

В заключение моих «Записей» (или в преддверии новых) поделюсь сведениями, полученными во Всероссийском научно-исследовательском институте космоаэрогеологических съемок, в Питере, на Биржевом проезде, берущем начало против Ростральной колонны, выходящем (с коленом посередине) на Менделеевскую линию к истфаку Петербургского университета, в комнате № 7, у одного из авторов проекта «Национальный парк «Вепсский лес» Татьяна Александровны Поповой. В течение нескольких лет, то есть все то время, что я проводил мои летние каникулы в вепском лесу, группа института, а также специалисты Госкомприроды, Ленинградского НИИ лесного хозяйст-

за работали над проектом национального парка «Вепсский лес», проводили аэрофотосъемку, обследовали Вепсовскую возвышенность, размышляли о том, как сохранить природу в местах обитания вепсов в Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском районах Ленинградской области.

Мне показали кальки будущего парка: в просторном ареале выделены заповедные места, закрытые для какой-либо деятельности и посещений, — уникальные вепсские ельники, болота, тайга, озера в долине Ояти; на всей остальной территории привычная деятельность не возбраняется, кроме рубки леса. Ну, разумеется, деятельность регламентируется статусом национального парка и туризм, туризм, туризм. Общая площадь парка 2600 км², в него войдут обе мои деревни: Нюрговичи и Чога; на кальке хорошо видно, что от Чоги до Нюрговичей по прямой не так далеко и все ельниками, болотами, два озера переплывать: Долгозеро, Капшозеро — наше Большое, там дачник Лева перевезет... И так захотелось пожить в национальном парке... Но будет ли парк? Когда приступали к проекту, все представлялось осуществимым, нынче стало проблематичным: национальный парк — образование некоммерческое, культурно-экологическое, гуманитарное — по плечу сильному государству, коего нет.

И вепсы глухо сопротивляются: пущен слух, что при парке не пустят в лес по грибы-ягоды, не дадут ловить рыбу... а без парка? Выйдешь за Сарозеро («сар» по-вепски еловый лес), и тошно станет: пусто, куда ни глянь, все вырублено, испакощено, на месте вепсской тайги завалы лесного хлама. Узенькая кулиса осталась — дорубиться от лесопункта Курба до Большого озера; еще несколько лет так порубят, и не о чем станет печься: на вырубках национального парка не заложишь.

Из чего исходили, приступая к проекту национального парка «Вепсский лес»? А вот посмотрите на карту северо-запада, вот Ленинград, здесь зона экологического неблагополучия; к востоку — в Приладожье, в междуречье Волхова и Сяси, до Тихвина и дальше — леса сведены. В более-менее нетронутом виде природа сохранилась на Вепсовской возвышенности, в верховьях Паши, Капши, Ояти, в Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском районах Ленинградской области, Вытегорском, Вологодском... Далее — зона воздействия Череповецкого металлургического комбината, от природы остались рожки да ножки, нечем дышать. Здесь единственный зеленый оазис на промышленном северо-западе, наши легкие... Если мы их не спасем...

Татьяна Александровна Попова, милая, интеллигентная, ученая, печальная ленинградская женщина сказала мне на прощанье: «Если бы мы с вами встретились в 91-м году, тогда все было легче, идея национального парка находила понимание, и средства находились, нас поддерживал Яблоков, а теперь...»

Я вышел на стрелку Васильевского острова... Рекламные щиты приглашали меня покурить «Мальборо», «Кэмел», настойчиво предлагали: «Тест Вест», то есть попробуй курнуть «Веста». Мимо на дикой скорости с ревом проносились «мерседесы», «вольво», «БМВ», еще какие-то капсулы и коконы. Хотелось сказать кому-нибудь: «Перекурили, господа, и будет. Давайте о чем-нибудь задумаемся, ну, хотя бы: чем будем дышать?» Но сказать было некому.

На сходе к Неве, под парашютом удильщики забрасывали донки, ждали поклевки. Летел тополиный пух. Как прошлогодний снег.